



Милан Кундера
НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЕГКОСТЬ
БЫТИЯ

Милан Кундера

Невыносимая легкость бытия

Серия «Азбука-бестселлер»

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=133165
Милан Кундера Невыносимая легкость бытия:
ISBN 978-5-389-20692-2

Аннотация

Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы. «Невыносимая легкость бытия» – самый знаменитый роман Милана Кундера, которым зачитываются все новые и новые поколения читателей, открывающие для себя вершины литературы XX века. Книга Кундера о любви и непростых человеческих отношениях, о трагическом периоде истории и вместе с тем это глубоко философская вещь. Автор пишет о непримиримой двойственности тела и души, о лабиринте возможностей, по которому блуждают герои, проживая свою единственную жизнь.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Часть первая	8
1	8
2	11
3	13
4	17
5	20
6	23
7	26
8	30
9	33
10	36
11	39
12	41
13	44
14	47
15	49
16	52
17	54
Часть вторая	56
1	56
2	57
3	59
4	60

5	63
6	65
7	67
8	68
9	70
10	72
11	74
12	77
13	79
14	80
15	82
16	85
17	87
18	88
19	90
20	91
21	93
22	95
23	97
24	99
25	102
26	105
27	108
28	111
29	113
Часть третья	114

Конец ознакомительного фрагмента.

Милан Кундера Невыносимая легкость бытия

Milan Kundera

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

Copyright © 1984, 1987, Milan Kundera

All rights reserved



АЗБУКА
БЕСТСЕЛЛЕР

Серия «Азбука-бестселлер»

Перевод с чешского Нины Шульгиной

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

© Н. М. Шульгина (наследник), перевод, 1992

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

* * *

Часть первая

Легкость и тяжесть

1

Идея вечного возвращения загадочна, и Ницше поверг ею в замешательство прочих философов: представить только, что когда-нибудь повторится все пережитое нами и что само повторение станет повторяться до бесконечности! Что хочет поведать нам этот безумный миф?

Миф вечного возвращения *per negationem*¹ говорит, что жизнь, которая не повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед, и как бы ни была она страшна, прекрасна или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значат. Мы должны воспринимать ее не иначе как, скажем, войну между двумя африканскими государствами в четырнадцатом столетии, ничего не изменившую в облике мира, невзирая на то что в ней погибло в несказанных мучениях триста тысяч чернокожих.

Изменится ли что-нибудь в войне двух африканских государств в четырнадцатом столетии, повторяться она бесчисленное число раз в вечном возвращении?

¹ В отрицании (*лат.*).

Несомненно, изменится: война обратится в вознесшийся на века монолит, и ее нелепость станет непоправимой.

Если бы Французской революции суждено было вечно повторяться, французская историография куда меньше гордилась бы Робеспьером. Но поскольку она повествует о том, что не возвращается, кровавые годы претворились в простые слова, теории, дискуссии и, став легче пуха, уже не вселяют ужаса. Есть бесконечная разница между Робеспьером, лишь однажды возникшим в истории, и Робеспьером, который вечно возвращался бы рубить головы французам.

Итак, можно сказать: идея вечного возвращения означает определенную перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете; предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности. Это облегчающее обстоятельство и мешает нам вынести какой-либо приговор. Как можно осудить то, что канет в Лету? Закатные зори освещают очарованием ностальгии все кругом; даже гильотину.

Недавно я поймал себя на необъяснимом ощущении: листая книгу о Гитлере, я растрогался при виде некоторых фотографий, они напомнили мне годы моего детства; я прожил его в войну; многие мои родственники погибли в гитлеровских концлагерях; но что была их смерть по сравнению с тем, что фотография Гитлера напомнила мне об ушедшем времени моей жизни, о времени, которое не повторится?

Это примирение с Гитлером вскрывает глубокую нравственную извращенность мира, по сути своей основанного

на невозможности возвращения, ибо в этом мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено.

2

Если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое – ужасно. В мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного возвращения самым тяжким бременем (*das schwerste Gewicht*).

А коли вечное возвращение есть самое тяжкое бремя, то на его фоне наши жизни могут предстать перед нами во всей своей восхитительной легкости.

Но действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна?

Самое тяжкое бремя сокрушает нас, мы гнемся под ним, оно придавливает нас к земле. Но в любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя суть одновременно и образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее.

И напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны.

Так что же предпочтительнее: тяжесть или легкость?

Этот вопрос в шестом веке до Рождества Христова задавал себе Парменид. Он видел весь мир разделенным на пары противоположностей: свет – тьма; нежность – грубость; тепло – холод; бытие – небытие. Один полюс противоположности был для него позитивным (свет, тепло, нежность, бытие), другой негативным. Деление на полюс позитивный и негативный может нам показаться по-детски простым. За исключением одного примера: что же позитивно – тяжесть или легкость?

Парменид ответил: легкость – позитивна, тяжесть – негативна.

Прав ли он был или нет? Вот в чем вопрос. Несомненно одно: противоположность «тяжесть – легкость» есть самая загадочная и самая многозначительная из всех противоположностей.

3

Я думаю о Томаше уже много лет, но лишь в свете этих размышлений увидел его явственно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит через двор на стены дома напротив и не знает, что делать.

Он впервые встретил Терезу три недели назад в одном маленьком чешском городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и ждала, пока он не сел в поезд. Десятью днями позже она приехала к нему в Прагу. Еще в тот же день они познали друг друга. Ночью начался у нее жар, и затем она неделю пролежала в гриппе у него дома.

Томаш почувствовал тогда неизъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке; ему казалось, что это ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по реке, чтобы он выловил ее на берег своего ложа.

Она пробыла у него неделю, пока не поправилась, а потом снова уехала в свой городок, что в двухстах километрах от Праги. И тут наступила та минута, о которой я говорил и которая представляется мне ключом к его жизни: он стоит у окна, смотрит через двор на стены дома напротив и размышляет.

Надо ли ему навсегда позвать ее в Прагу? Он боялся этой ответственности. Позови он ее сейчас, она придет и предложит ему всю свою жизнь.

Или уж вовсе не напоминать ей о себе? Это значит – Тереза останется официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит ее.

Хотел ли он, чтобы она приехала к нему, или не хотел?

Он смотрел через двор на противоположные стены и искал ответ.

Вновь и вновь он вспоминал, как она лежала на тахте; она не вызывала в памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой. Это был ребенок, которого он вынул из просмоленной корзинки и опустил на берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Ее горячее дыхание участилось, раздался слабенький стон. Он прижался лицом к ее лицу и стал шептать ей в сон утешные слова. Вскоре он заметил, что ее дыхание успокаивается и ее лицо непроизвольно приподнимается к его лицу. Он слышал из ее рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться доверчивостью ее тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него и что она умирает. Им сразу же овладело отчетливое ощущение, что смерти ее он не вынесет. Ляжет возле и захочет умереть вместе с нею. Растроганный этим мысленным образом, он зарылся лицом в подушку рядом с ее головой и оставался так долгое время.

Теперь он стоял у окна и воскрешал в памяти ту минуту. Что это могло быть еще, как не любовь, которая вот так пришла к нему и предложила себя?

Но была ли это любовь? Ощущение, что он хочет умереть

возле нее, было явно преувеличенным: он тогда виделся с ней лишь второй раз в жизни! Уж не истерия ли это человека, осознавшего свою неспособность к любви и потому разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего-навсего жалкую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса войти в его жизнь!

Он смотрел через двор на грязные стены и понимал, что так до конца и не знает, была ли это истерия или любовь.

И ему было грустно, что в таком положении, когда настоящий мужчина сумел бы не мешкая действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные мгновения в жизни (он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему, что он не вынесет ее смерти) их значения.

Он злился на себя, но потом вдруг его осенило, что не знать, чего он хочет, по сути, вполне естественно.

Нам не дано знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем одну-единственную жизнь и не можем ни сравнить ее со своими предыдущими жизнями, ни исправить ее в жизнях последующих.

Лучше быть с Терезой или остаться одному?

Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо не существует никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но че-

го стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и «набросок» не точное слово, поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине, тогда как набросок, каким является наша жизнь, – набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину.

Einmal ist keinmal, повторяет Томаш немецкую поговорку. Единожды – все равно что никогда. Если нам суждено прожить одну-единственную жизнь – это значит, мы не жили вовсе.

Но как-то раз, в перерыве между двумя операциями, сестра подозвала его к телефону. В трубке он услышал Терезин голос. Звонила она с вокзала. Он обрадовался. К сожалению, на сегодняшний вечер у него уже было назначено свидание, и ему пришлось пригласить ее к себе на следующий день. Но едва он повесил трубку, как стал попрекать себя, что не позвал ее тотчас. Еще было время отменить свидание! Он представил, как Тереза проведет в Праге целых полтора дня до их встречи, и его охватило желание немедленно сесть в машину и поехать искать ее на пражских улицах.

Пришла Тереза вечером следующего дня. На плече у нее висела сумка на длинном ремне, и она показалась ему элегантнее, чем в прошлый раз. Под мышкой она держала толстую книгу. Это была «Анна Каренина» Толстого. Вела она себя оживленно, даже несколько шумно и старалась всячески подчеркнуть, что зашла к нему случайно, в силу особых обстоятельств: в Праге она по делу, возможно (ее объяснения были весьма туманны), ей удастся найти здесь работу.

Потом они лежали рядом, голые и уставшие, на тахте. Была уже ночь. Он спросил ее, где она поселилась, чтобы отвезти ее туда на машине. Она в растерянности ответила, что гостиницу только собираются поискать и что ее чемодан в камере хранения на вокзале.

Еще вчера он боялся, что, позови он ее к себе в Прагу, она приедет и предложит всю свою жизнь. Когда она сейчас сказала ему, что ее чемодан в камере хранения, у него вдруг мелькнула мысль, что в том чемодане ее жизнь и что прежде, чем предложить ему, она оставила ее пока на вокзале.

Он сел с Терезой в машину, стоявшую перед домом, заехал на вокзал, взял чемодан (большой и невероятно тяжелый) и повез его вместе с ней обратно к себе.

Как же случилось, что он так быстро принял решение, если чуть не две недели колебался и не мог заставить себя послать ей даже открытку?

Он сам был поражен. На этот раз он поступал вопреки своим принципам. Десять лет назад он развелся с женой и переживал развод в праздничном настроении, в каком иные празднуют свадьбу. Он понял, что не создан жить вместе ни с одной женщиной и что может оставаться самим собой лишь в положении холостяка. Он всеми силами старался создать такую систему жизни, при которой уже ни одна женщина не смогла бы поселиться у него с чемоданом. Из этих соображений в его квартире стояла лишь одна тахта. Хотя она и была достаточно широкой, Томаш уверял всех своих возлюбленных, что не способен ни с кем уснуть в одной постели, и после полуночи всегда отвозил их домой. Впрочем, и когда у него впервые оказалась Тереза, больная гриппом, он не лег с нею рядом. Первую ночь он провел в большом кресле, а затем уезжал в больницу, где у него был свой кабинет, а в нем

кушетка, которой он пользовался в ночные дежурства.

На этот раз он уснул возле нее. Проснулся рано и обнаружил, что она, все еще продолжая спать, держит его за руку. Неужели они провели так всю ночь? Это казалось ему фантастичным.

Во сне она глубоко дышала, держала его за руку (так крепко, что он не мог высвободиться из этих тисков), а немислимо тяжелый чемодан стоял возле постели.

Боясь разбудить Терезу, он, не высвобождая своей руки, лишь осторожно повернулся на бок, чтобы лучше видеть ее.

И снова подумалось, что Тереза ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по течению. Но можно ли позволить корзинке с ребенком плыть по бушующей реке?! Если бы дочь фараона не выловила из волн корзинку с младенцем Моисеем, не было бы Ветхого Завета и всей нашей цивилизации! Столько старых мифов начинается с того, что кто-то спасает подкидыша. Не прими Полиб маленького Эдипа, Софокл не написал бы своей самой прекрасной трагедии!

Томаш тогда еще не понимал, что метафора – опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь.

Он жил с женой менее двух лет и произвел с ней на свет одного ребенка. На бракоразводном процессе суд присудил ребенка матери, а Томаша обязал платить на него треть своего заработка. При этом гарантировал ему право видеть сына каждое второе воскресенье.

Однако всякий раз, когда Томаш собирался встретиться с мальчиком, его мать находила какую-нибудь отговорку. Конечно, приноси он им дорогие подарки, свиданий он добивался бы куда легче. Да, за любовь сына надо было платить, а то и переплачивать. Он представлял себе, как в будущем по-донкихотски захочет привить сыну свои взгляды, в корне противоположные взглядам матери, и его уже заранее охватывала усталость. Когда в очередное воскресенье бывшая жена снова в последнюю минуту отказала ему в свидании с сыном, он внезапно решил, что уже никогда в жизни не пожелает его видеть.

А почему, впрочем, он должен был испытывать к этому ребенку, с которым его не связывало ничего, кроме одной неосмотрительной ночи, нечто большее, чем к любому другому? Он будет аккуратно платить алименты, но пусть уж никто не заставляет его бороться за право на сына в угоду каким-то отцовским чувствам.

Естественно, такие рассуждения ни у кого не вызывали

симпатии. Его собственные родители осудили его и объявили, что коль скоро Томаш отказывается интересоваться своим сыном, то и они, родители Томаша, перестают интересоваться своим. При этом они остались в демонстративно хороших отношениях с невесткой и похвалялись всем и каждому своим примерным поведением и чувством справедливости.

Так, в течение короткого времени, ему удалось избавиться от жены, сына, матери и отца. Единственное, что они по себе оставили в нем, – это страх перед женщинами. Он желал их, но боялся. Между страхом и желанием ему пришлось создать некий компромисс; он определял его словами «эротическая дружба». Он убеждал своих любовниц: лишь те отношения, при которых нет ни следа сентиментальности и ни один из партнеров не посягает на жизнь и свободу другого, могут принести счастье обоим.

И, желая заручиться уверенностью, что так называемая эротическая дружба никогда не перерастет в агрессию любви, он встречался с каждой из своих постоянных любовниц лишь после весьма длительных перерывов. Он считал этот метод совершенным и пропагандировал его среди друзей. «Следует придерживаться правила тройного числа. Либо видиться с одной женщиной в течение короткого промежутка времени, но при этом не более трех раз. Либо встречаться с ней долгими годами, но при условии, что между свиданиями проходит по меньшей мере три недели».

Эта система давала Томашу возможность не расходиться со своими постоянными любовницами и параллельно иметь множество непостоянных. Его не всегда понимали. Среди подруг с наибольшим пониманием относилась к нему Сабина. Будучи художницей, она говорила: «Я люблю тебя, поскольку ты полная противоположность китча. В империи китча ты считался бы монстром. В любом сценарии американского или русского фильма ты не мог бы представлять собою ничего, кроме устрашающего примера».

Именно к Сабине Томаш обратился за помощью, когда ему понадобилось подыскать для Терезы работу в Праге. Следуя неписаным правилам эротической дружбы, Сабина пообещала ему сделать все, что в ее силах, и вскоре нашла-таки место в фотолаборатории одного иллюстрированного еженедельника. Это место не требовало никакой особой квалификации, однако сразу же возвысило Терезу от уровня официантки до статуса сотрудника прессы. Сабина сама привела Терезу в редакцию, и Томаш тогда говорил себе, что в жизни у него не было лучшей подруги, чем Сабина.

Неписанный договор эротической дружбы предполагал, что Томаш исключает любовь из своей жизни. Если бы он нарушил это условие, все прочие его любовницы сразу бы оказались на второстепенных ролях и взбунтовались.

Вот почему он постарался снять для Терезы квартиру, куда ей пришлось отнести свой тяжелый чемодан. Ему хотелось заботиться о ней, оберегать ее, наслаждаться ее присутствием, но у него не было ни малейшего желания изменить свой образ жизни. Никто не должен знать, что Тереза спит в его доме. Общий сон, выходит, был *corpus delicti*² любви.

С другими любовницами он не спал никогда. Посещая их, он мог уйти в любое время. Хуже было, когда они приходили к нему, и он вынужден был им объяснять, что страдает бессонницей, что рядом с другим человеком не может уснуть и потому после полуночи отвезет их домой. Эти объяснения были недалеко от правды, но главная причина крылась в другом, гораздо худшем, и он не осмеливался ее высказать: в минуту, следовавшую за любовной близостью, его охватывало непреодолимое желание остаться одному; пробуждаться посреди ночи рядом с чужим существом было ему неприятно; общее утреннее вставание его отвращало; ему вовсе не хотелось, чтобы кто-то слышал, как в ванной он чистит зубы,

² Вещественными доказательствами (*лат.*).

не привлекал его и завтрак тет-а-тет.

Поэтому он был так поражен, когда, проснувшись, осознал, что Тереза крепко держит его за руку. Он смотрел на нее и не мог достаточно ясно понять, что случилось. Он вспоминал о только что пережитых часах, и ему казалось, от них исходит запах какого-то неизведанного счастья.

С той поры они оба наслаждались совместным сном. Я бы даже сказал, целью соития был для них не оргазм, а сон, следовавший за ним. И особенно она не могла спать без него. Когда случалось ей оставаться одной в снятой для нее квартире (все больше становившейся лишь алиби), она не могла уснуть всю ночь. А в его объятиях засыпала, как бы ни была возбуждена. Он шепотом рассказывал сказки, которые сочинял для нее, молот всякую чепуху или монотонно повторял слова, то успокоительные, то смешные. Эти слова превращались в путаные видения, которые уводили ее в первое забытьё. Он полностью владел ее сном, и она засыпала в то мгновение, какое избирал он сам.

Когда они спали, она держалась за него, как в первую ночь: крепко сжимала его запястье, палец, лодыжку. Если он хотел удалиться, не разбудив ее, ему приходилось пускаться на хитрости. Он высвобождал из ее тисков палец (запястье, лодыжку), что всегда отчасти будило ее, поскольку и во сне она чутко сторожила его. И успокаивалась лишь тогда, когда он всовывал ей в руку вместо пальца какую-нибудь вещь (свернутую пижаму, туфлю, книгу), которую она сжимала затем

так же крепко, как если бы это был кусочек его тела.

Однажды, когда он только усыпил ее и она, пребывая еще на первой ступеньке сна, способна была отвечать на его вопросы, он сказал ей: «Так. А теперь я уйду». – «Куда?» – спросила она. «Ухожу», – сказал он строго. «Я иду с тобой!» – сказала она и привстала на постели. «Нет, нельзя. Я ухожу навсегда», – сказал он и вышел из комнаты в переднюю. Она поднялась и с полужакрытыми глазами пошла за ним. В одной короткой сорочке, под которой ничего не было. Лицо неподвижное, без выражения, но движения энергичны. Он из передней вышел в коридор (общий коридор многоквартирного дома) и закрыл перед ней дверь. Она тут же отворила ее и пошла за ним, убежденная во сне, что он хочет уйти от нее навсегда и что надо удержать его. Он спустился на лестничную площадку этажом ниже и там подождал ее. Она сошла к нему, взяла его за руку и повела назад в постель.

Томаш говорил себе: быть в близких отношениях с женщиной и спать с женщиной – две страсти не только различные, но едва ли не противоположные. Любовь проявляется не в желании совокупления (это желание распространяется на несчетное количество женщин), но в желании совместного сна (это желание ограничивается лишь одной женщиной).

Среди ночи Тереза начала стонать во сне. Томаш разбудил ее, но, увидав его лицо, она сказала с ненавистью: «Уходи! Поди прочь!» А чуть погодя рассказала ему, что ей снилось: они двое и Сабина оказались в большой комнате, в центре которой была постель, точно подмостки в театре. Томаш велел ей стоять в углу, а сам у нее на глазах занялся любовью с Сабиной. Это зрелище причиняло ей невыносимые страдания. Стремясь перебить боль души болью тела, она стала всаживать себе под ногти иголки. «Было ужасно больно», – говорила она и сжимала в кулак пальцы, словно они и вправду были изранены.

Он обнял ее, и она медленно (еще долго дрожа) засыпала в его объятиях.

Думая об этом сне на следующий день, он кое-что вспомнил. Он открыл письменный стол и вынул из него пачку писем, которые ему писала Сабина. Он быстро нашел это место: «Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз не могли бы от нас оторвать...»

И что хуже всего: на письме была дата. Сравнительно свежая, к тому времени Тереза уже давно жила у Томаша.
– Ты рылась в моих письмах! – накинулся он на нее.
Не отпираясь, она сказала:

– Ну так выгони меня!

Но он не выгнал ее. Он будто видел ее перед глазами: она стоит, прижавшись к стене Сабининой мастерской, и вонзает себе иголки под ногти. Он взял ее пальцы, стал гладить их и, поднеся к губам, целовать, словно на них были следы крови.

Но с той поры словно все взбунтовалось против него. Почти каждый день она узнавала какие-то новые подробности его тайной интимной жизни.

Поначалу он все отрицал. Если находились доказательства слишком очевидные, он утверждал, что его полигамная жизнь отнюдь не перечеркивает его любви к ней. Правда, он не отличался последовательностью: то отрицал свои измены, то оправдывал их.

Однажды он позвонил какой-то женщине, чтобы договориться о встрече. Когда кончил разговаривать, услышал из соседней комнаты какой-то странный звук, точно у кого-то громко стучали зубы.

Оказалось, Тереза по чистой случайности пришла к нему, а он и не заметил этого. Сейчас она держала пузырек с успокоительным, вливала содержимое прямо в рот, и рука ее тряслась так, что пузырек стучал о зубы.

Он бросился к ней, будто хотел спасти утопающую от гибели. Пузырек упал на пол, забрызгав валерьянкой ковер. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, но он чуть ли не четверть часа сжимал ее руками, словно смирительной рубашкой, пока она не успокоилась.

Он понимал, что оказался в положении, которому нет оправдания, ибо оно основано на полном неравенстве.

Еще до того, как она обнаружила его переписку с Сабинной, он был с нею и несколькими друзьями в баре. Отмечали новую Терезину должность. Она покинула лабораторию и стала фотографом еженедельника. Поскольку он сам не любил танцевать, Терезой завладел его молодой коллега. Эта пара прекрасно смотрелась на танцевальной площадке бара, и Тереза казалась ему красивей обычного. Он изумленно наблюдал, с какой точностью и послушностью она на какую-то долю секунды предупреждает волю своего партнера. Этот танец словно бы говорил о том, что ее жертвенность, некая возвышенная мечта исполнить то, что она читает в глазах Томаша, вовсе не была расторжимо связана только с ним, а готова была ответить зову любого мужчины, который встретился бы ей вместо него. Не было ничего проще вообразить себе, что Тереза и его коллега – любовники. Простота этого образа больно ранила его! Он вдруг осознал, что Терезино тело без труда представляемо в любовном соитии с другим мужским телом, и впал в уныние. Лишь поздно ночью, когда они вернулись домой, он признался ей в своей ревности.

Эта абсурдная ревность, исходившая всего лишь из теоретической возможности, была доказательством того, что Терезину верность он считал безусловной предпосылкой их любви. Так мог ли он попрекать ее тем, что она ревновала к

вполне реальным его любовницам?

Днем она старалась (хоть и с частичным успехом) верить тому, что говорил Томаш, и быть веселой, какой была до сих пор. Однако ревность, укрощенная днем, тем безудержнее проявлялась в ее снах, кончавшихся рыданиями, которые он обрывал, лишь разбудив ее.

Сны повторялись, как темы с вариациями или как телевизионные многосерийные фильмы. Ей часто, например, снились сны о кошках, которые прыгали на лицо и впивались когтями в кожу. Мы можем найти для этого достаточно простое объяснение: «кошка» в чешском аргументе означает красивую женщину. Тереза постоянно чувствовала над собой угрозу, исходившую от женщин, от всех женщин. Все женщины были потенциальными любовницами Томаша, и она боялась их.

В другом цикле снов ее посылали на смерть. Однажды, среди ночи, когда он разбудил ее, кричавшую от ужаса, она стала рассказывать: «Это был большой крытый бассейн. Нас было примерно двадцать. Одни женщины. Мы все были голые и маршировали вокруг бассейна. Под потолком была подвешена корзина, и в ней стоял мужчина. На нем была широкополая шляпа, затенявшая его лицо, но я знала, что это ты. Ты подавал нам команды. Кричал. В строю мы должны были петь и делать приседания. Стоило какой-нибудь жен-

щине неудачно присесть, ты стрелял в нее из пистолета, и она замертво падала в бассейн. В ту минуту все начинали смеяться и петь еще громче. А ты не спускал с нас глаз, и если какая-то снова допускала оплошность, ты убивал ее. Бассейн был полон трупов, они плавали под самой водяной гладью. Я чувствовала, что у меня нет уже сил сделать еще одно приседание и что ты застрелишь меня!»

В третьем цикле снов она была мертвой.

Она лежала на катафалке, таком же большом, как фургон для перевозки мебели. Вокруг нее были одни мертвые женщины. Было их столько, что задние двери не закрывались, и ноги некоторых торчали наружу.

Тереза кричала: «Я же не мертвая! Я все чувствую!»

«Мы тоже все чувствуем», – смеялись трупы.

Они смеялись точно таким же смехом, как и те живые женщины, которые когда-то с радостью убеждали ее, что если у нее будут плохие зубы, больные яичники и морщины, так это в порядке вещей: у них тоже плохие зубы, больные яичники и морщины. С таким же смехом они теперь объясняли ей, что она мертвая и что это совершенно нормально!

Потом ей вдруг захотелось помочиться. Она крикнула: «Мне же хочется по-маленькому! Это доказывает, что я не мертвая!»

А они снова смеялись: «Это нормально, что тебе хочется писать. Все эти ощущения останутся надолго. Как если кому отнимают ногу, а он еще долго ее чувствует. У нас уже нет

мочи, а нам все время хочется писать».

Тереза прижималась в постели к Томашу:

– И все мне говорили «ты», будто издавна знали меня, будто это были мои подруги, и меня обуял ужас, что теперь я останусь с ними навечно!

Все языки, восходящие к латыни, образуют слово *compassion* («сострадание») с помощью приставки «со-» (*com-*) и корня, который изначально означал «страдание» (поздняя латынь: *passio*). На другие языки – например, на чешский, польский, немецкий, шведский – это слово переводится существительным, состоящим из приставки того же значения, сопровождаемой словом «чувство» (по-чешски: *sou-cit*; по-польски: *współ-czucie*; по-немецки: *Mitgefühl*; по-шведски: *med-känsla*).

В языках, восходящих к латыни, слово «сострадание» (*compassion*) означает: мы не можем с холодным сердцем смотреть на страдания другого; или: мы соболезуем тому, кто страдает. От другого слова, имеющего приблизительно то же значение (от французского *pitié*, от английского *pity*, от итальянского *pietà* и так далее), исходит даже некая снисходительность по отношению к тому, кто страдает. *Avoir de la pitié pour une femme* означает, что нам лучше, чем женщине, что мы с жалостью склоняемся над ней, снисходим до нее.

Вот причина, по которой слово «сострадание» вызывает определенное недоверие; кажется, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, имеющее мало общего с любовью. Любить кого-то из сострадания – не значит

любить его по-настоящему.

В языках, образующих слово «сочувствие» не от существительного «страдание» (*passio*), а от «чувство», это слово употребляется приблизительно в том же смысле, но сказать, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, все-таки нельзя. Тайная сила этимологии этого слова озаряет его иным светом и придает ему более широкий смысл: сочувствовать (или же иметь сочувствие) – значит не только уметь жить несчастьем другого, но и разделять с ним любое иное чувство: радость, тревогу, счастье, боль. Такого рода «сочувствие» (в смысле *soucit*, *współczucie*, *Mitgefühl*, *medkänsla*) означает, стало быть, максимальную способность эмоционального воображения, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии чувств это чувство самое высокое.

Когда Тереза рассказывала Томашу о своем сне, в котором вонзала себе под ногти иголки, она тем самым призналась и в том, что украдкой просматривала его ящики. Сделай это какая-нибудь другая женщина, он бы в жизни уже с нею не разговаривал. Тереза это знала и потому сказала ему: «Выгони меня!» Но он не только не выгнал ее, но схватил ее за руку и стал целовать кончики пальцев, ибо в ту минуту сам почувствовал боль под ее ногтями, словно нервы ее пальцев вращались прямо в кору его мозга.

Любой, кто не наделен дьявольским даром, называемым «сочувствие», способен лишь холодно осудить Терезу за ее поступок, ибо личная жизнь другого человека священна и

ящички с его интимными письмами открывать не положено. Но поскольку сочувствие стало уделом Томаша (или проклятием), ему представилось, что это он сам стоял на коленях перед открытым ящичком письменного стола и не мог оторвать взгляд от фраз, написанных Сабиной. Он понимал Терезу и не только не способен был сердиться на нее, но любил ее еще больше.

Ее движения становились резкими и беспорядочными. С тех пор как она обнаружила его измены, прошло два года, но чем дальше, тем становилось ей хуже. Выхода не было.

В самом деле, неужто он не мог оборвать свои эротические дружбы? Нет, не мог. Это разрушило бы его. У него не было сил перебороть свою тягу к другим женщинам. Да он и не видел в этом нужды. Никто не знал лучше, чем он, что все его похождения ничем не угрожают Терезе. Так надо ли отказываться от них? Ему казалось это столь же бессмысленным, как если бы он ни с того ни с сего перестал ходить на футбол.

Но можно ли при этом говорить о радости? Уже в ту минуту, когда он уходил к своей очередной любовнице, он испытывал к ней неприязнь и зарекался больше никогда не встречаться с нею. Перед его мысленным взором стояла Тереза, и, дабы не думать о ней, он был вынужден оглушать себя алкоголем. Да, с той поры как он познал Терезу, он не мог сблизиться ни с одной женщиной без спиртного! Но именнодыхание, отдававшее алкоголем, было тем следом, по которому Тереза еще легче дознавалась о его изменах.

За ним захлопнулась ловушка: в минуту, когда он шел к любовнице, он переставал желать ее, но стоило ему остаться хоть на день без женщины, как уже не терпелось позвонить

одной из них, чтобы договориться о встрече.

По-прежнему ему ни с кем не было так хорошо, как с Сабиной. Он знал, что она не болтлива и что не надо опасаться разглашения их тайны. Ее мастерская встречала его как воспоминание о его прошлой жизни, идиллической жизни холостяка.

Он, пожалуй, и сам не сознавал, как изменился: боялся поздно прийти домой, ибо там его ждала Тереза. Сабина однажды даже заметила, что он смотрит на часы во время любовных утех и тщится ускорить их завершение.

Затем, все еще обнаженная, она прошла ленивым шагом по мастерской, остановилась перед мольбертом с начатой картиной и краем глаза стала наблюдать, как Томаш поспешно одевается.

Вот он уже оделся, хотя одна нога все еще была босая. Он поозирался, потом встал на четвереньки и заглянул под стол.

Сабина сказала:

– Смотрю на тебя, и у меня возникает ощущение, что ты превращаешься в вечную тему моих картин. Встреча двух миров. Двойная экспозиция. За силуэтом Томаша-либертена проглядывает удивительное лицо романтического любовника. Или наоборот: сквозь фигуру Тристана, который не думает ни о чем другом, кроме как о своей Терезе, виден прекрасный, отверженный мир либертена.

Томаш выпрямился, рассеянно слушая Сабинины слова.

– Что ты ищешь? – спросила она.

– Носок.

Она вместе с ним оглядела комнату, и он снова встал на четвереньки и посмотрел под стол.

– Нет здесь твоего носка, – сказала Сабина. – Ты, наверное, пришел без него.

– Как я мог прийти без него? – вскричал Томаш и посмотрел на часы. – Не пришел же я в одном носке!

– Не исключено. В последнее время ты ужасно рассеян. Все куда-то торопишься, смотришь на часы и потому неудивительно, что забываешь о носке.

Он уж был готов надеть ботинок на босу ногу.

– На улице холодно, – сказала Сабина. – Возьми мой чулок.

Она подала ему длинный белый модный чулок, вязанный крючком крупными петлями.

Он прекрасно понимал, что это месть за то, что он смотрел на часы, когда они были вместе. Она явно спрятала носок. Было действительно холодно, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. Он уходил в носке на одной ноге и в закатанном над щиколоткой белом чулке на другой.

Положение оказалось отчаянным: для любовниц он был отмечен постыдным клеймом своей любви к Терезе, для Терезы – постыдным клеймом своих любовных походов.

Чтобы приглушить ее страдания, он женился на ней (наконец-то они отказались от найма квартиры, в которой она уже давно не жила) и достал ей щенка.

Родился он от суки сенбернара, принадлежавшей коллеге Томаша. Отцом щенят был соседский пес – овчарка. Охотников до маленьких бастардов не нашлось, а хозяину жалко было их убивать.

Выбирая среди щенков, Томаш знал, что те, которых он не выберет, должны будут умереть. Он представлялся себе президентом республики, который стоит перед четырьмя осужденными на смерть и властен помиловать лишь одного. Наконец он выбрал щенка, девочку, телом она походила на овчарку, а головой на мамочку – сенбернара. Принес Терезе. Она подняла щенка, прижала его к груди, и он вмиг обмочил ей блузку.

Они взялись подыскивать ему имя. Томаш хотел, чтобы уже по одному имени было ясно, что собака принадлежит Терезе, и вспомнил о книге, которую она сжимала под мышкой, когда незванно приехала в Прагу. Он предложил назвать щенка Толстым.

– Не может он быть Толстым, – возразила Тереза, – потому что это девочка. Она может быть Анной Карениной.

– Нет, она не может быть Анной Карениной, такая смеш-

ная моська не может быть ни у одной женщины, – сказал Томаш. – Это скорее Каренин. Вот именно, Каренин. Точно таким я и представлял его.

– Но если мы станем называть ее Каренин, не повлияет ли это на ее сексуальность?

– Вполне возможно, – сказал Томаш, – что сука, которую хозяйка постоянно называет именем кобеля, будет иметь лесбийские наклонности.

Его слова удивительным образом сбылись. Хотя обычно сука тянется больше к хозяину, чем к хозяйке, Каренин испытывал противоположные чувства. Он решил быть влюбленным в Терезу, и Томаш был ему за это премного благодарен. Гладил его по голове и приговаривал: «Ты молодец, Каренин. Именно этого я и хотел от тебя. Если меня одного ей мало, ты должен мне помочь».

Но даже с помощью Каренина ему не удалось сделать ее счастливой. Он осознал это примерно на десятый день после того, как его страну захватили русские танки. Был август 1968 года, Томашу каждый день звонил из Цюриха директор тамошней клиники, с которым Томаш подружился на одной международной конференции. Он опасался за Томаша и предлагал ему место.

Если Томаш и отказывался от предложений швейцарца почти без колебаний, то причиной тому была Тереза. Он предполагал, что ехать туда ей не хотелось бы. Кстати сказать, всю первую неделю оккупации она провела в каком-то экстазе, почти походившем на ощущение счастья. Она сновала по улицам с фотоаппаратом и раздавала пленки заграничным журналистам, которые чуть ли не дрались из-за них. Однажды, когда она вела себя слишком дерзко, пытаясь сфотографировать офицера, нацелившего пистолет на группу людей, ее задержали и оставили на ночь в русской комендатуре. Ей угрожали расстрелом, однако, как только отпустили, она снова вышла на улицы и продолжала щелкать.

И конечно, Томаш весьма удивился, услышав от нее на десятый день оккупации такие слова:

– Почему ты не хочешь ехать в Швейцарию?

– А почему я должен ехать?

– Здесь они могут свести с тобой счеты.

– С каждым из нас они могут свести счеты, – махнув рукой, сказал Томаш. – А ты согласна была бы жить за границей?

– А почему нет?

– Я видел, как ты рисковала жизнью ради этой страны. Трудно представить, что теперь ты смогла бы покинуть ее.

– С тех пор как Дубчек вернулся, все изменилось, – сказала Тереза.

И вправду: та всеобщая эйфория продолжалась лишь первую неделю оккупации. Руководители страны были вывезены русской армией как преступники, никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которой все потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное соглашение. Дубчек вернулся с ним в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полуминутными паузами.

Компромисс спас страну от самого страшного: от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно: Чехия должна теперь покориться захватчику; она обречена уже вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчек. Праздник кончился. Настали будни унижения.

Все это говорила Тереза Томашу; он знал, что это правда, но знал и то, что за этой правдой кроется еще другая, бо-

лее существенная причина, по какой Тереза хочет уехать из Праги: в прошлом она не была счастлива.

Дни, когда она фотографировала русских солдат на пражских улицах и лицом к лицу встречалась с опасностью, были самыми прекрасными в ее жизни. Это были единственные дни, когда телевизионный сериал ее снов оборвался и ночи ее стали счастливыми. Русские на своих танках принесли ей душевное равновесие. Теперь, когда праздник кончился, она снова стала бояться своих ночей и хотела бы бежать от них. Она поняла, что бывают обстоятельства, при которых она может чувствовать себя сильной и счастливой, и мечтала теперь уехать в другой мир с надеждой, что там снова встретится с чем-то подобным.

– А тебе не мешает, – спросил Томаш, – что Сабина тоже эмигрировала в Швейцарию?

– Женева не Цюрих, – сказала Тереза. – Думаю, там она будет волновать меня меньше, чем волновала в Праге.

Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Томаш принял желание Терезы эмигрировать, словно злоумышленник, принимающий приговор. Он покорился ему и в один прекрасный день оказался с Терезой и Карениным в самом крупном городе Швейцарии.

В пустую квартиру он купил одну кровать (на другую мебель денег пока не было) и окунулся в работу со всей истовостью человека, начинающего после сорока новую жизнь.

Несколько раз он звонил в Женеву Сабине. Ей повезло: выставка ее картин открылась за неделю до русского вторжения, так что швейцарские меценаты, увлеченные волной симпатии к маленькой стране, раскупили все ее работы.

– Благодаря русским я разбогатела, – смеялась Сабина в трубку. Она позвала Томаша к себе в новую мастерскую, заверив его, что она мало чем отличается от той, которую он знает по Праге.

Томаш, конечно, рад был ее навестить, но никак не мог придумать предлог, каким сумел бы оправдать свою поездку в глазах Терезы. И потому Сабина приехала в Цюрих. Поселилась в гостинице. Томаш пришел туда после работы, позвонил ей из холла и сразу же поднялся к ней в номер. Открыв дверь, она предстала перед ним на своих красивых длинных ногах, полураздетая, в одних трусиках и бюстгалтере. На голове у нее был черный котелок. Она смотрела на Томаша долгим, неподвижным взглядом и не говорила ни слова. И Томаш стоял молча. А потом вдруг понял, как он растроган. Он снял с ее головы котелок и положил на тумбочку у кровати. И тут же, так и не перемолвившись словом,

они отдались любви.

Уходя из гостиницы в свою цюрихскую квартиру (уже давно пополнившуюся столом, стульями, креслами, ковром), он не без радости говорил себе, что носит с собой свой образ жизни так же, как улитка – свой домик. Тереза и Сабина являлись два полюса его жизни, полюсы отдаленные, непримиримые и, однако, оба прекрасные.

Но именно потому, что систему своей жизни он носил повсюду с собой, словно она приросла к его телу, Терезе продолжали сниться все те же сны.

Они жили в Цюрихе уже месяцев шесть или семь, когда он однажды, вернувшись поздно вечером домой, нашел на столе письмо. Тереза сообщала ему, что уехала в Прагу. Уехала потому, что не в силах жить за границей. Она сознает, что должна была стать здесь опорой ему, но сознает и свою неспособность к этому. Она наивно полагала, что за граница изменит ее. Верила, что после всего пережитого в дни вторжения она уже не будет мелочна, станет взрослой, умной, сильной, но она переоценила себя. Она в тягость ему и не может больше выносить это. Она обязана сделать из этого необходимые выводы прежде, чем будет совсем поздно. И просит простить ее, что взяла с собой Каренина.

Он принял сильное снотворное, но уснул только под утро. К счастью, была суббота и он мог остаться дома. В сотый раз он взвешивал все обстоятельства: граница между его страной и остальным миром уже закрыта, прошли те времена,

когда они уезжали. Никакими телеграммами и телефонными звонками Терезу обратно не вызволишь. Власти уже не выпустят ее за границу. Ее отъезд непостижимо бесповоротен.

Сознание, что он абсолютно беспомощен, действовало на него, словно палочные удары, но при том, как ни странно, и успокаивало его. Никто не понуждал его принимать то или иное решение. Ему не надо было смотреть на стены дома напротив и задаваться вопросом, хочет он жить с Терезой или не хочет. Она все решила сама.

Он пошел в ресторан пообедать. Было горестно, но за едой первоначальное отчаяние как бы отступило, как бы утратило свою силу, истаяв в обычную меланхолию. Он оглядывался на годы, которые прожил с Терезой, и ему казалось, что вся их история не могла завершиться удачнее, чем завершилась. Если бы кто-то даже придумал эту историю, то вряд ли мог бы закончить ее иначе: Тереза пришла к нему по собственной воле. Таким же образом в один прекрасный день и ушла. Приехала с одним тяжелым чемоданом. С одним тяжелым чемоданом и уехала.

Он расплатился, вышел из ресторана и стал прохаживаться по улицам, исполненный меланхолической грусти, которая становилась все более и более прекрасной. Позади было семь лет жизни с Терезой, и теперь он убеждался, что те годы в воспоминаниях были прекрасней, чем когда он проживал их в действительности.

Любовь между ним и Терезой была прелестна, но утоми-

тельна: он постоянно должен был что-то утаивать, маскировать, изображать, исправлять, поддерживать в ней хорошее настроение, утешать, непрерывно доказывать свою любовь, быть подсудным ее ревности, ее страданиям, ее снам, чувствовать себя виноватым, оправдываться и извиняться. Это напряжение теперь исчезло, а красота осталась.

Суббота клонилась к вечеру, он впервые прогуливался по Цюриху один и вдыхал аромат своей свободы. За углом каждой улицы таилось приключение. Будущее вновь стало тайной. Опять вернулась холостяцкая жизнь, жизнь, которая, как он некогда думал, была ему предначертана; лишь в ней он может оставаться поистине самим собой.

Вот уже семь лет он был привязан к Терезе, ее глаза следили за каждым его шагом. Было так, словно она привязала к его лодыжкам железные гири. А теперь неожиданно его шаг стал гораздо легче. Он чуть не парил в воздухе. Он оказался в магическом поле Парменида: он наслаждался сладкой легкостью бытия.

(Было ли у него желание позвонить в Женеву Сабине? Дать знать о себе кому-то из цюрихских женщин, с которыми он познакомился в последние месяцы? Нет, у него не было такого желания. Он чувствовал, что, случись ему встретиться с какой-нибудь женщиной, воспоминание о Терезе мгновенно стало бы невыносимо мучительным.)

Это особое меланхолическое очарование длилось до самого воскресного вечера. В понедельник все изменилось. Тереза ворвалась в его мысли: он чувствовал, каково ей было, когда она писала ему прощальное письмо; чувствовал, как у нее тряслись руки; видел, как она тащит тяжелый чемодан в одной руке и Каренина на поводке – в другой; он представлял себе, как она отпирает их пражскую квартиру, и собственным сердцем ощущал бесприютность одиночества, пахнувшего ей в лицо, когда она открыла дверь.

В течение тех прекрасных двух дней меланхолии его сознание отдыхало. Сочувствие спало, как спит горняк в воскресенье после недели каторжного труда, чтобы в понедельник суметь снова спуститься в шахту.

Он осматривал больного, а видел вместо него Терезу. Мысленно он наставлял себя: не думай о ней! не думай о ней! Он говорил себе: именно потому, что я болен сочувствием, хорошо, что она уехала и что я больше не увижу ее. Я должен освободиться не от нее, а от своего сочувствия, от этой болезни, которая была мне неизвестна, пока Тереза не заразила меня ее вирусом!

В субботу и воскресенье он испытывал сладкую легкость бытия, что приближалась к нему из глубин будущего. Но уже в понедельник навалилась на него тяжесть, какой он не знал

прежде.

Все тонны стали русских танков не шли с ней в сравнение. Нет ничего более тяжкого, чем сочувствие. Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому-то, боль за кого-то, ради кого-то, боль, многожды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков.

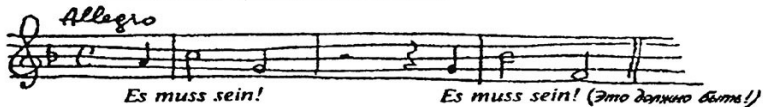
Он убеждал себя не поддаваться сочувствию, и сочувствие слушалось его, склонив голову, словно ощущало себя виноватым. Сочувствие знало, что злоупотребляет своими правами, но все-таки упорствовало исподтишка, и потому на пятый день после ее отъезда Томаш сообщил директору клиники (тому самому, который ежедневно звонил ему в оккупированную Прагу), что должен немедленно вернуться на родину. Ему было стыдно. Он знал, что его поведение покажется директору безответственным и непростительным. Нестерпимо хотелось довериться ему и рассказать о Терезе и о письме, что она оставила для него на столе. Но он не сделал этого. С точки зрения швейцарского врача, поступок Терезы выглядел бы истеричным и безобразным. А Томашу не хотелось позволить кому бы то ни было думать о ней дурно.

Директор и в самом деле был обижен.

Пожав плечами, Томаш сказал:

– Es muss sein. Es muss sein.

То был намек. Последняя часть последнего бетховенского квартета написана на эти два мотива:



Чтобы смысл этих слов был совершенно ясен, Бетховен озаглавил всю последнюю часть словами: «Der schwer gefasste Entschluss», переводимыми как «тяжко принятое решение».

Этим намеком на Бетховена Томаш уже возвращался к Терезе, так как именно она заставляла его покупать пластинки с бетховенскими квартетами и сонатами.

Намек оказался более уместен, чем Томаш ожидал, ибо директор был большим любителем музыки. Он слегка улыбнулся и тихо сказал, воспроизводя голосом бетховенскую мелодию:

– Muss es sein?

Томаш сказал еще раз:

– Ja, es muss sein.

В отличие от Парменида, для Бетховена тяжесть была явно чем-то положительным. «Der schwer gefasste Entschluss» (тяжко принятое решение) связано с голосом Судьбы («Es muss sein!»); тяжесть, необходимость и ценность суть три понятия, внутренне зависимые друг от друга: лишь то, что необходимо, тяжело, лишь то, что весит, имеет цену.

Это убеждение родилось из бетховенской музыки, и, хотя возможно (или даже вероятно), что ответственность за него несут скорее толкователи Бетховена, чем сам композитор, ныне мы все в большей или меньшей степени разделяем его; величие человека мы усматриваем в том, что он несет свою судьбу, как нес Атлант на своих плечах свод небесный. Бетховенский герой – атлет, поднимающий метафизические тяжести.

Томаш ехал к швейцарской границе, а в моем воображении сам патлатый и хмурый Бетховен дирижировал оркестром местных пожарников и играл ему на прощание с эмиграцией марш под названием «Es muss sein!».

Затем Томаш пересек чешскую границу и натолкнулся на колонны русских танков. Ему пришлось остановить машину у перекрестка и ждать полчаса, пока они пройдут. Грозный танкист в черной форме стоял на перекрестке и управлял

движением, словно все дороги в Чехии безраздельно принадлежали только ему. «Es muss sein!» – мысленно повторял Томаш, потом вдруг засомневался: в самом ли деле это должно было быть?

Да, невыносимо было оставаться в Цюрихе и представлять себе, что Тереза живет в Праге одна.

Но как долго мучило бы его сочувствие? Всю жизнь? Или целый год? Или месяц? Или всего неделю?

Откуда ему было знать? Мог ли он это испытать?

Любой школьник на уроках физики может поставить опыт, чтобы убедиться в правильности той или иной научной гипотезы. Но человек, проживающий одну-единственную жизнь, лишен возможности проверить гипотезу опытным путем, и ему не дано узнать, должен был он или не должен был подчиниться своему чувству.

Погруженный в эти мысли, Томаш открыл дверь квартиры. Каренин пустился прыгать, норовя лизнуть его в лицо, и тем самым облегчил ему первые минуты встречи. Желание упасть Терезе в объятия (желание, которое обуревало его, еще когда он садился в Цюрихе в машину) совершенно исчезло. Ему казалось, что он стоит против нее посреди снежной равнины и что они оба дрожат от холода.

С первого дня оккупации русские военные самолеты летали над Прагой ночи напролет. Томаш от этого звука отвык и не мог уснуть.

Ворочаясь с боку на бок возле спящей Терезы, он вспомнил вдруг фразу, сказанную ею когда-то давно посреди пустой болтовни. Они говорили о его приятеле З., и вдруг она обронила: «Если б я не встретила тебя, наверняка бы влюбилась в него».

Уже тогда эти слова привели Томаша в состояние странной меланхолии, ибо он вдруг осознал абсолютную случайность того факта, что Тереза любит его, а не приятеля З. Что, кроме ее осуществленной любви к нему, в империи возможностей есть еще бесконечное множество неосуществленных влюбленностей в других мужчин.

Мы все не допускаем даже мысли, что любовь нашей жизни может быть чем-то легким, лишенным всякого веса; мы полагаем, что наша любовь – именно то, что должно было быть; что без нее наша жизнь не была бы нашей жизнью. Нам кажется, что сам Бетховен, угрюмый и патлатый, играет нашей великой любви свое «Es muss sein!».

Томаш вспоминал о Терезиной обмолвке насчет приятеля З. и убеждался, что история любви его жизни не откликается ни на какие «Es muss sein!», скорее на «Es könnte auch anders

sein»: это могло быть и по-иному.

Семь лет назад в больнице Терезино городского *случайно* было обнаружено тяжелое заболевание мозга, ради которого для срочной консультации был приглашен главный врач клиники, где работал Томаш. Но у главврача *случайно* оказался ишиас, он не мог двигаться и вместо себя послал в провинциальную больницу Томаша. В городе было пять гостиниц, но Томаш *случайно* напал именно на ту, где работала Тереза. *Случайно* до отхода поезда у него оставалось немного свободного времени, чтобы посидеть в ресторане. *Случайно* была Терезина смена, и она *случайно* обслуживала стол, за которым сидел он. Потребовалось шесть случайностей, чтобы они подтолкнули Томаша к Терезе, словно его самого к ней ничуть не тянуло.

Он вернулся в Чехию из-за нее. Столь роковое решение опиралось на любовь столь случайную, какой и вовсе могло не быть, не уложи ишиас семь лет назад его шефа в постель. И эта женщина, это олицетворение абсолютной случайности, лежит теперь рядом с ним и глубоко дышит во сне.

Была уже поздняя ночь. Он почувствовал, что начинаются боли в желудке, как часто случалось у него в минуты душевной подавленности.

Ее дыхание раз-другой перешло в легкое посапывание. Томаш не ощущал в себе никакого сочувствия. Единственными ощущениями были тяжесть в желудке и отчаяние, что он вернулся.

Часть вторая

Душа и тело

1

Было бы глупо пытаться автору убедить читателя, что его герои жили на самом деле. Они родились вовсе не из утробы матери, а из одной-двух впечатляющих фраз или из одной решающей ситуации. Томаш родился из фразы: *Einmal ist keinmal*. Тереза – из урчания в животе.

Когда она впервые вошла к Томашу в квартиру, у нее вдруг заурчало в животе. И неудивительно: она не обедала, не ужинала, лишь утром на вокзале, прежде чем сесть в поезд, съела бутерброд. Она вся была сосредоточена на своей дерзкой поездке, а про еду и не вспомнила. Но кто не думает о своем теле, тот еще скорее становится его жертвой. Было ужасно стоять перед Томашем и слышать, как громко разговаривают ее внутренности. Ей хотелось плакать. К счастью, Томаш сразу же обнял ее, и она смогла забыть о голосах желудка.

2

Итак, Тереза родилась из ситуации, которая грубо обнажает непримиримую двойственность тела и души, этот основной человеческий опыт.

Когда-то, в давние времена, человек с удивлением прислушивался, как в груди раздается стук размеренных ударов, и не понимал, что это. Он не мог отождествлять себя с чем-то столь чуждым и неведомым, каким представлялось ему тело. Тело было клеткой, а внутри ее находилось нечто, что смотрело, слушало, боялось, думало и удивлялось; этим нечто, оставшимся за вычетом тела, была душа.

Во времена нынешние тело, конечно, вещь изведенная; мы знаем: то, что стучит в груди, – сердце, а нос – оконечность трубки, которая выступает из тела, дабы подавать кислород в легкие. Лицо не что иное, как некая приборная доска, куда выводятся все механизмы тела, то бишь пищеварение, зрение, слух, дыхание, мышление.

С тех пор как человек на своем теле может всему дать название, оно тревожит его куда меньше. Мы знаем и то, что душа не что иное, как деятельность серого вещества мозга. Двойственность тела и души окуталась научными терминами, и ныне мы можем весело смеяться над ней, как над старомодным предрассудком.

Но достаточно человеку, влюбленному до безумия, услы-

шать урчание своих кишок, как единство тела и души, эта лирическая иллюзия века науки, тотчас разрушается.

3

Она стремилась сквозь свое тело увидеть себя. Поэтому так часто останавливалась перед зеркалом. А поскольку боялась, чтобы при этом ее не застигла мать, каждый любопытный взгляд в зеркало носил характер тайного порока.

К зеркалу влекло ее не тщеславие, а удивление тому, что она видит свое «я». Она забывала, что смотрит на приборную доску телесных механизмов. Ей казалось, что она видит свою душу, которая позволяет ей познать себя в чертах лица. Она забывала, что нос – всего лишь оконечность трубочки для подачи воздуха в легкие. Она видела в нем верное отображение своего характера.

Она смотрела на себя долго и подчас огорчалась, видя на своем лице черты матери. Но тем настойчивее она смотрела на себя и старалась усилием воли отвлечься от материнского облика, вычеркнуть его начисто, дабы в ее лице оставалось лишь то, что представляло ее самое. Когда ей это удавалось, наступала минута опьянения: душа пробивалась на поверхность тела, – так воинство, вырвавшись из трюма, заполоняет всю палубу, воздевает руки к небу и ликующе поет.

4

Она не только была физически похожа на мать, но, как мне порой кажется, и жизнь ее была лишь продолжением жизни матери, примерно так, как бег бильярдного шара есть лишь продолжение толчка руки игрока.

Где и когда началось это движение, которое позднее превратилось в жизнь Терезы?

Пожалуй, еще в то время, когда Терезин дедушка, пражский торговец, стал во всеуслышанье благоговеть перед красотой своей дочери, Терезиной матери. Было ей тогда года три или четыре, и он любил разглагольствовать о том, как она похожа на образ Рафаэлевой Мадонны. Четырехлетняя Терезина мать отлично это усвоила, и позже, сидя в гимназии за партой, вместо того, чтобы слушать учителя, думала о том, на какие образы она похожа.

Когда пришло время выходить замуж, у нее объявилось девять претендентов. Все они коленопреклоненно толпились вокруг нее, а она стояла посредине, словно принцесса, и не знала, кого предпочесть: один был красивее, другой остроумнее, третий богаче, четвертый спортивнее, пятый из лучшей семьи, шестой читал стихи, седьмой исколесил весь мир, восьмой играл на скрипке, а девятый был изо всех самый мужественный. Но все они равно стояли перед ней на коленях и равно натерли на них мозоли.

И если в конце концов она выбрала девятого, то вовсе не потому, что он был мужественнее других, а потому, что, когда она шептала ему на ухо в минуты страсти «будь осторожен, будь очень осторожен!», он умышленно не осторожничал и ей пришлось поспешно выйти за него замуж, ибо вовремя не удалось найти доктора, который сделал бы ей аборт. Так родилась Тереза. Бесчисленная родня съехалась со всех концов страны и, склоняясь над коляской, засюсюкала. Терезина мать не сюсюкала. Молчала. Думала об остальных восьмерых поклонниках, и все они казались ей лучше, чем этот девятый.

Она так же, как и ее дочь, любила смотреться в зеркало. В один прекрасный день она обнаружила, что вокруг глаз полно морщин, и сказала себе, что ее брак – сущая нелепица. Она встретила немужественного мужчину, у которого в прошлом было несколько растрат и два расторгнутых брака. Она ненавидела любовников, у которых на коленях были мозоли. Ей непреодолимо хотелось преклонить колени самой. Она упала на колени перед растратчиком и покинула мужа и Терезу.

И неожиданно самый мужественный мужчина сделался самым грустным. Он сделался таким грустным, что ему все стало трын-трава. Он везде и всюду говорил громко все, что думает, и коммунистическая полиция, огорошенная его бредовыми сентенциями, арестовала его, судила и надолго уpekла за решетку. Квартиру опечатали, а Терезу отослали к ма-

тери.

Самый грустный мужчина вскоре в заключении умер, и мать с растратчиком и Терезой поселилась в маленькой квартирке в подгорном местечке. Терезин отчим служил в конторе, мать была продавщицей в магазине. Родила еще троих. Потом снова поглядела на себя в зеркало и обнаружила, что стала старой и уродливой.

Решив, что все потеряно, она начала искать виноватого. Виноваты были все: виноват был первый супруг, мужественный и нелюбимый, который не слушал ее, когда она шептала ему на ухо, чтобы он был осторожен; виноват был второй супруг, немужественный и любимый, который уволок ее из Праги в маленькое городишко и гонялся за каждой юбкой, обрекая ее на непреходящую ревность. Против обоих мужей она была бессильна. Единственный человек, который безраздельно принадлежал ей и не мог увильнуть от нее, заложница, вынужденная расплачиваться за всех остальных, была Тереза.

Впрочем, возможно, именно она и вправду была повинна в судьбе матери. Она, то есть та абсурдная встреча спермы самого мужественного с яйцеклеткой самой красивой. В ту роковую секунду, имя которой Тереза, стартовала в беге на длинную дистанцию исковерканная жизнь матери.

Мать без усталости объясняла Терезе, что быть матерью – значит всем жертвовать. Ее слова звучали убедительно, ибо за ними стоял опыт женщины, утратившей все ради своего ребенка. Тереза слушала и верила, что самая большая ценность в жизни – материнство и что оно при этом – великая жертва. Если материнство – воплощенная Жертва, тогда удел дочери – олицетворять Вину, которую никогда нельзя

ИСКУПИТЬ.

Тереза, конечно, не знала истории ночи, когда мать шептала на ухо ее отцу, чтобы он был осторожен. Провинность, которую она ощущала, была неясной, сродни первородному греху. Она делала все, чтобы его искупить. Мать забрала ее из гимназии, и она с пятнадцати лет пошла в официантки, отдавая в дом весь свой заработок. Она была готова работать в поте лица, лишь бы заслужить материнскую любовь. Хлопотала по хозяйству, ухаживала за маленькими, все воскресенье убирала и стирала. Обидно было: в гимназии она слыла самой способной среди одноклассников. Она стремилась куда-то выше, но в этом маленьком городишке никакого «выше» для нее не было. Тереза стирала белье, а возле ванной всегда лежала книжка. Она переворачивала страницы, и на книгу падали капли воды.

В доме не существовало стыда. Мать ходила по квартире в одном белье, подчас без лифчика, а в летнюю пору и вовсе голая. Отчим голым не ходил, зато всегда лез в ванную, когда там купалась Тереза. Однажды она из-за этого заперлась в ванной, и мать закатила скандал: «Ты кого из себя корчишь? За кого ты себя считаешь? Думаешь, он откусит твою красоту?»

(Такие стычки наглядно показывают, что ненависть матери к дочери была сильнее ее женской ревности. Вина до-

чери была бесконечна и вбирала в себя даже измены мужа. Стремление дочери быть самостоятельной и настаивать на каких-то своих правах – хотя бы на праве запереться в ванной – было для матери более недопустимым, чем предположительный сексуальный интерес мужа к падчерице.)

Однажды зимой мать расхаживала голая при зажженной лампе. Тереза торопливо бросилась задергивать шторы, чтобы мать не увидели из дома напротив. За спиной она услышала ее смех. На другой день к матери пришли приятельницы: соседка, сослуживица по магазину, местная учительница и еще две-три женщины, которые, по обыкновению, регулярно встречались. Тереза вместе с шестнадцатилетним сыном одной из женщин ненадолго вошла к ним в комнату. Мать, воспользовавшись этим, стала рассказывать, как вчера дочь пыталась уберечь ее благопристойность. Она смеялась, и женщины смеялись вместе с ней. Затем мать сказала: «Тереза не хочет смириться с тем, что человеческое тело писает и пукает». Тереза покрылась краской, а мать добавила: «Что в этом плохого?» – и сама тут же ответила на свой вопрос: громко выпустила ветры. Все женщины засмеялись.

Мать громко сморкается, во всеуслышание рассказывает о своей сексуальной жизни, демонстрирует свой зубной протез. Ослабившись в широкой улыбке, она с поразительной ловкостью умеет поддеть его языком так, что верхняя челюсть падает на нижние зубы и ее лицо внезапно принимает чудовищное выражение.

Ее поведение не что иное, как единый, ожесточенный жест, которым она отбрасывает свою красоту и молодость. В пору, когда девять поклонников стояли на коленях вокруг нее, она тщательно оберегала свою наготу. словно бы мерой стыда хотела выразить меру цены, какую имеет ее тело. И если теперь ничего не стыдится, то делает это нарочито нагло, словно своим бесстыдством хочет торжественно подвести под жизнь черту и выкрикнуть, что молодость и красота, которые она так высоко ставила, на самом деле не стоят ломаного гроша.

Мне кажется, что Тереза и есть продолжение этого жеста, которым мать отбросила далеко назад свою жизнь красавицы.

(И если у самой Терезы нервные движения, недостаточная плавность жестов, вряд ли можно тому удивляться: этот великий материнский жест, дикий и самоуничтожающий, остался в Терезе, стал Терезой!)

Мать требует к себе справедливости и хочет, чтобы виновный был наказан. Поэтому она настаивает на том, чтобы дочь осталась с ней в мире бесстыдства, где молодость и красота ничего не стоят, где весь мир не что иное, как один огромный концентрационный лагерь тел, похожих одно на другое, а души в них неразличимы.

Теперь нам может быть понятнее смысл тайного Терезино порока, ее частых и долгих взглядов, бросаемых на себя в зеркало. Это борьба с матерью. Это была мечта не быть телом, похожим на другие тела, а увидеть на поверхности собственного лица воинство души, вырвавшееся из трюма на палубу. Нелегко было: Терезина душа, печальная, несмелая, забитая, была запрятана в глубине ее нутра и стеснялась выйти наружу.

Так было именно в тот день, когда она впервые встретила Томаша. Она пробиралась между выпивохами в своем ресторане, тело сгибалось под тяжестью пивных кружек, которые она несла на подносе, а душа была где-то в самом желудке или в поджелудочной железе. И именно тогда Томаш обратился к ней. Это обращение было многозначительным, ибо исходило от того, кто не знал ни ее матери, ни всех этих выпивох, ежедневно бросавших по ее адресу затертые, скабрзные фразочки. Положение человека заезжего возвыша-

ло его над остальными.

И еще кое-что возвышало его: на столе перед ним лежала открытая книга. В этом кабаке еще никто никогда не открывал книги. Книга была для Терезы опознавательным знаком тайного братства. Против окружавшего ее мира грубости у нее было лишь единственное оружие: книги, которые она брала в городской библиотеке; особенно романы: она прочитала их уйму – от Филдинга до Томаса Манна. Они давали ей возможность иллюзорного бегства из жизни, не удовлетворявшей ее, а кроме того, имели для нее значение и некой вещи: она любила, держа книгу под мышкой, прохаживаться по улице. Книги обрели для нее то же значение, что и элегантная трость для денди минувшего века. Они отличали ее от других.

(Сравнение книги с элегантной тростью денди не совсем точно. Трость денди не только отличала его, но и делала современным, модным. Книга отличала Терезу, но делала ее старомодной. Она, конечно, была слишком молода, чтобы осознавать эту свою старомодность. Молодые люди, которые проходили мимо нее с галдящими транзисторами, казались ей недоумками. От нее ускользала их современность.)

Тот, кто обратился к Терезе, был одновременно и посторонним, и членом общего тайного братства. Он обратился к ней приветливым голосом, и она почувствовала, как ее душа пробивается на поверхность всеми жилами и порами, чтобы предстать перед ним.

Когда Томаш вернулся из Цюриха, ему стало не по себе от мысли, что его встреча с Терезой была порождена шестью невероятными случайностями.

Но не становится ли событие тем значительнее и исключительнее, чем большее число случайностей приводит к нему?

Лишь случайность может предстать перед нами как послание. Все, что происходит по необходимости, что ожидаемо, что повторяется всякий день, то немо. Лишь случайность о чем-то говорит нам. Мы стремимся прочесть ее, как читают цыганки по узорам, начертанным кофейной гущей на дне чашки.

Томаш явился Терезе в ресторане как абсолютная случайность. Он сидел за столом, глядя в открытую книгу. Потом вдруг поднял глаза на Терезу, улыбнулся и сказал: «Рюмку коньяка».

В то время звучала по радио музыка. Тереза, подойдя к стойке за коньяком, повернула ручку приемника, и музыка зазвучала еще громче. Она узнала Бетховена. Она знала его с тех пор, как в их городе побывал квартет из Праги. Тереза (как известно, мечтавшая о чем-то «высшем») пошла на концерт. Зал пустовал. Кроме нее, в нем был лишь местный аптекарь с женой. На сцене, выходит, был квартет музыкантов, а в зале – трио слушателей, однако музыканты оказались

столь любезны, что не отменили концерта и играли весь вечер только для них последние три бетховенских квартета.

Затем аптекарь пригласил музыкантов на ужин, а вместе с ними и незнакомую слушательницу. С тех пор Бетховен стал для нее символом запредельного мира, мира, о котором она страстно мечтала. И теперь, неся от стойки коньяк для Томаша, она пыталась прозреть в эту случайность: возможно ли, что именно сейчас, когда она несет коньяк незнакомцу, который нравится ей, звучит музыка Бетховена?

Да, именно случайность полна волшебства, необходимости оно неведомо. Ежели любви суждено стать незабываемой, с первой же минуты к ней должны слетаться случайности, как слетались птицы на плечи Франциска Ассизского.

Он подозвал ее, чтобы расплатиться. Закрыв книгу (опознавательный знак тайного братства), и ей захотелось спросить его, что он читает.

– Вы могли бы вписать это в счет моего номера? – спросил он.

– Конечно, – сказала она. – Какой у вас номер?

Он показал ей ключ, к которому была привязана деревянная дощечка с нарисованной на ней красной шестеркой.

– Странно, – сказала она, – шестой номер.

– Что же в этом странного? – спросил он.

Она вдруг вспомнила, что, пока жила в Праге у все еще не разведенных родителей, их дом был под номером «шесть». Но вслух сказала она нечто другое (и мы можем оценить ее лукавство):

– У вас шестой номер, а у меня как раз в шесть работа кончается.

– А у меня в семь отходит поезд, – сказал незнакомец.

Не зная, что сказать еще, она подала ему счет, чтобы он расписался на нем, и отнесла его в бюро обслуживания. Когда она закончила работу, незнакомец уже не сидел за своим столиком. Понял ли он ее деликатный призыв? Из ресторана она выходила взволнованная.

Напротив гостиницы был небольшой редкий парк, таким

жалким бывает парк только в грязном маленьком городке, но для Терезы он всегда представлял собою островок красоты: газон, четыре тополя, скамейки, плакучая ива и кусты форзиции.

Он сидел на желтой скамейке, откуда был виден вход в ресторан. Именно на этой скамейке она сидела вчера с книгой на коленях! В ту минуту она уже знала (птицы случайностей слетелись к ней на плечи), что этот незнакомец предназначен ей судьбой. Он окликнул ее, пригласил присесть рядом. (Воинство ее души вырвалось на палубу тела.) Затем она проводила его на вокзал, и на прощание он дал ей свою визитную карточку с номером телефона:

– Если вдруг когда приедете в Прагу...

Гораздо больше, чем визитная карточка, которую он сунул ей в последнюю минуту, значил для нее знак случайностей (книга, Бетховен, число «шесть», желтая скамейка в парке), придавший ей мужества уйти из дому и изменить свою судьбу. Возможно, именно эти несколько случайностей (кстати сказать, совсем скромных, серых, поистине достойных этого захолустного городка) привели в движение ее любовь и стали источником энергии, которую она не исчерпает до конца дней.

Наша каждодневная жизнь подвергается обстрелу случайностями, точнее сказать, случайными встречами людей и событий, называемыми совпадениями. «Совпадение» означает, что два неожиданных события происходят в одно и то же время, что они сталкиваются: Томаш появляется в ресторане и в то же время звучит музыка Бетховена. Огромное множество таких совпадений человек не замечает вовсе. Если бы в ресторане за столом вместо Томаша сидел местный мясник, Тереза не осознала бы, что по радио звучит Бетховен (хотя встреча Бетховена и мясника тоже любопытное совпадение). Зарождающаяся любовь, однако, обострила в ней чувство красоты, и этой музыки она уже никогда не забудет. Всякий раз, услышав ее, она растрогается. Все, что будет происходить в эту минуту вокруг нее, озарится этой музыкой и

станет прекрасным.

В начале того романа, который Тереза держала под мышкой, когда пришла к Томашу, Анна встречается с Вронским при странных обстоятельствах. Она на перроне, где только что кто-то попал под поезд. В конце романа бросается под поезд Анна. Эта симметрическая композиция, в которой возникает одинаковый мотив в начале и в конце романа, может вам показаться слишком «романной». Да, могу согласиться, однако при условии, что слово «романный» вы будете понимать отнюдь не как «выдуманный», «искусственный», «непохожий на жизнь». Ибо именно так и komponуются человеческие жизни.

Они скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие (музыку Бетховена, смерть на вокзале) в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор – тему своей сонаты. Ведь могла же Анна покончить с собой каким-то иным способом! Но мотив вокзала и смерти, этот незабвенный мотив, связанный с рождением любви, притягивал ее своей мрачной красотой и в минуты отчаяния. Сам того не ведая, человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности.

Нельзя, следовательно, упрекать роман, что он заморожен тайными встречами случайностей (подобными встрече Вронского, Анны, вокзала и смерти или встрече Бетховена,

Томаша, Терезы и коньяка), но можно справедливо упрекать человека, что в своей повседневной жизни он слеп к таким случайностям. Его жизнь тем самым утрачивает свое измерение красоты.

Побуждаемая птицами случайностей, что слетались к ней на плечи, она, не сказав ни слова матери, взяла недельный отпуск и села в поезд. Всякий раз выходя в туалет, она смотрелась в зеркало и молила душу в этот решающий день ее жизни ни на миг не покидать палубу ее тела. В одно из таких посещений туалета она, разглядывая себя в зеркале, вдруг испугалась: почувствовала, что у нее першит в горле. Неужто в решающий день ее жизни ей суждено заболеть?

Но пути назад не было. Она позвонила ему с вокзала, и в ту минуту, когда он открыл ей дверь, у нее страшно заурчало в животе. Стало стыдно. Казалось, что в живот к ней забралась мать и хохочет там, чтобы испортить ей свидание с Томашем.

В первое мгновение она подумала, что из-за этих непристойных звуков он ее наверняка выгонит, но он обнял ее. В благодарность ему, что он не замечает урчания в ее животе, она целовала его так страстно, что туман застилал ей глаза. Не прошло и минуты, как они отделились друг другу. В соитии она кричала. У нее уже была температура. Начинался грипп. Устье трубочки, проводящей кислород в легкие, было забитым и красным.

Затем она приехала во второй раз с тяжелым чемоданом, куда уложила все свои пожитки, решившись никогда не воз-

вращаться в маленький город. Он позвал ее к себе только на следующий вечер. Она провела ночь в дешевой гостинице, утром отнесла чемодан в камеру хранения на вокзале и целый день бродила по Праге с «Анной Карениной» под мышкой. Вечером она позвонила, он открыл дверь, но она все еще не выпускала книгу из рук, словно это был входной билет в мир Томаша. Она сознавала, что, кроме этого жалкого входного билета, у нее нет ничего, и оттого ей хотелось плакать. Но она не плакала, была болтлива, говорила громко и смеялась. Вскоре он снова обнял ее, и они любили друг друга. Она погрузилась во мглу, в которой ничего не было видно, лишь слышен был ее крик.

Это были не вздохи, не стоны, это был поистине крик. Она кричала так, что Томаш отстранял голову от ее лица. Ему казалось, что голос, звучащий у самого его уха, повредит барабанные перепонки. Этот крик не был выражением чувственности. Чувственность – это максимальная мобилизация сознания; человек напряженно следит за своим партнером, стараясь уловить каждый его звук. Ее крик, напротив, имел целью оглушить сознание, помешать ему что-либо видеть и слышать. Это кричал сам наивный идеализм ее любви, стремившейся разрушить все противоположности, разрушить двойственность тела и души и, пожалуй, разрушить само время.

Закрыты ли были ее глаза? Нет, но она никуда не смотрела, вперившись взглядом в пустоту потолка. По временам она резко, из стороны в сторону, поводила головой.

Когда крик затих, она уснула рядом с Томашем и всю ночь держала его за руку.

Еще когда ей было восемь лет, она засыпала, сжимая одну руку другой и представляя себе, что держит мужчину, которого любит, мужчину ее жизни. И если она сжимала во сне руку Томаша с таким упорством, мы можем понять почему: тренируясь с детства, она готовила себя к этому.

Девушка, мечтающая приобщиться к «чему-то высшему», но вынужденная меж тем разносить пьянчугам пиво и по воскресеньям стирать грязное белье материнских отпрысков, накапливает в себе великий запас жизнеспособности, какая и не снится тем, кто учится в университетах и зевает над книгами. Тереза прочла куда больше их и знала о жизни куда больше их, но она никогда так и не поймет этого. То, что отличает человека учившегося от самоучки, измеряется не знаниями, а иной степенью жизнеспособности и самосознания. Вдохновение, с каким Тереза окунулась в пражскую жизнь, было одновременно неистовым и зыбким. Она словно ждала, что в один прекрасный день кто-то скажет ей: «Тебе здесь не место! Вернись, откуда пришла!» Вся ее тяга к жизни висела на единственном волоске: на голосе Томаша, который когда-то вызвал наружу ее душу, пугливо затаившуюся в ее глубинах.

Тереза получила место в фотолаборатории, но ей было недостаточно этого. Хотелось фотографировать самой. Придательница Томаша Сабина дала Терезе три-четыре монографии знаменитых фотографов, встретила с нею в кафе и по раскрытым книгам взялась объяснять ей, чем эти фотографии особенно примечательны. Тереза слушала ее с молчаливой сосредоточенностью, какую редко видит учитель на

лицах своих учеников.

Поняв с помощью Сабины родственность фотографии и живописи, она стала заставлять Томаша посещать с нею все выставки в Праге. Вскоре ей удалось напечатать в иллюстрированном еженедельнике собственные фотографии, и она, покинув наконец лабораторию, перешла в цех профессиональных фотографов.

В тот же вечер они пошли с друзьями в бар отметить ее повышение. Танцевали. Томаш впал в уныние и лишь дома, по ее настоянию, признался, что произошло: он приревновал ее, видя, как она танцует с его коллегой.

– В самом деле, ты ревновал меня? – переспросила она его раз десять, словно он сообщил, что ей присудили Нобелевскую премию, а она никак не могла в это поверить.

Потом она обняла его за талию и пустилась с ним танцевать. Но это был не тот современный танец, какой час назад она демонстрировала в баре. Это больше походило на деревенскую «скочну» с ее дурашливым подскакиванием: высоко вскидывая ноги, она делала неуклюжие длинные прыжки и волочила его взад-вперед по комнате.

К сожалению, вскоре она начала ревновать сама, и ее ревность была для Томаша отнюдь не Нобелевской премией, а тяжким бременем, от которого он избавился лишь незадолго до смерти.

Она маршировала вокруг бассейна голая вместе со множеством других голых женщин. Томаш стоял в корзине, подвешенной под сводом купальни, кричал на них и заставлял петь и делать приседания. Если какая-нибудь женщина приседала неловко, он убивал ее, стреляя из пистолета.

К этому сну я хочу вернуться еще раз. Его ужас начался не в ту минуту, когда Томаш сделал первый выстрел. Сон был ужасен с самого начала. Маршировать в строю голой – для Терезы основной образ ужаса. Когда она жила дома, мать запрещала ей запирааться в ванной. Этим она как бы хотела сказать ей: твое тело такое же, как и остальные тела; у тебя нет никакого права на стыд; у тебя нет никакого повода прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров. В материнском мире все тела были одинаковы, и они маршировали друг за дружкой в строю. Нагота для Терезы с детства была знамением непреложного единообразия концентрационного лагеря; знамением унижения.

И был еще один ужас в самом начале этого сна: все женщины должны были петь! Мало того, что их тела были одинаковы, одинаково не представляющими никакой ценности, мало того, что они были простыми звучащими механизмами без души, но женщины тому еще радовались! Это была радостная солидарность бездушных! Женщины были счастли-

вы тем, что отбросили бремя души, эту смешную гордыню, иллюзию исключительности, и что теперь они подобны друг другу. Тереза пела вместе с ними, но не радовалась. Она пела, потому что боялась: если не будет петь, женщины убьют ее.

Но какой смысл был в том, что Томаш стрелял в них и они, одна за другой, падали мертвые в бассейн?

Женщины, радующиеся своей одинаковости и неразличимости, празднуют, в сущности, свою грядущую смерть, которая сделает их сходство абсолютным. Таким образом, выстрел был лишь счастливой кульминацией их макабрического марша. После каждого выстрела они начинали смеяться, и, по мере того как труп опускался под гладь бассейна, их пение набирало силу.

А почему тот, кто стрелял, был именно Томаш? И почему он хотел застрелить со всеми вместе и Терезу?

Да потому, что именно он послал Терезу к ним. Вот что должен сообщить Томашу сон, коли Тереза не может сказать ему это сама. Она пришла к нему, чтобы спастись от материнского мира, где все тела были одинаковы. Она пришла к нему, чтобы ее тело стало исключительным и незаменимым. А он сейчас снова поставил знак равенства между нею и другими: он целует всех одинаково, ласкает одинаково, не делает никакой, ну никакой разницы между телом Терезы и другими телами. Тем самым он послал ее обратно в мир, от которого она хотела спастись. Он послал ее маршировать голой

с другими голыми женщинами.

Снились ей попеременно три сериала снов: первый, в котором бесновались кошки, рассказывал о ее страданиях в жизни; второй сериал в несчетных вариациях изображал картины ее казни; третий повествовал о ее посмертной жизни, где ее унижение стало вовек не кончающейся мукой.

В этих снах не было ничего, что нуждалось бы в расшифровке. Обвинение, которое они бросали Томашу, было таким очевидным, что ему оставалось лишь молчать и, склонив голову, гладить Терезу по руке.

Эти сны были не только многозначительны, но еще и красивые. Обстоятельство, ускользнувшее от Фрейда в его теории снов. Сон – не только сообщение (если хотите, сообщение зашифрованное), но и эстетическая активность, игра воображения, которая уже сама по себе представляет ценность. Сон есть доказательство того, что фантазия, сновидение о том, чего не произошло, относится к глубочайшим потребностям человека. Здесь корень коварной опасности сна. Не будь сон красивым, о нем можно было бы мигом забыть. Но Тереза к своим снам постоянно возвращалась, повторяла их мысленно, превращала в легенды. Томаш жил под гипнотическим волшебством мучительной красоты Терезиных снов.

– Тереза, Терезочка, куда ты от меня ускользаешь? Тебе ведь каждую ночь снится смерть, словно ты и вправду хо-

чешь уйти... – говорил он ей, когда они сидели друг против друга в винном погребке.

Был день, разум и воля опять одерживали верх. Капля красного вина медленно стекала по стеклу бокала, и Тереза говорила:

– Томаш, я не виновата. Я же все понимаю. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что эти измены... это совсем не трагедия...

Она смотрела на него с любовью, но боялась ночи, которая наступит, боялась своих снов. Жизнь раздвоилась. За нее боролись ночь и день.

Тот, кто постоянно устремлен «куда-то выше», должен считаться с тем, что однажды у него закружится голова. Что же такое головокружение? Страх падения? Но почему у нас кружится голова и на обзорной башне, обнесенной защитным парашютом? Нет, головокружение нечто иное, чем страх падения. Головокружение – это глубокая пустота под нами, что влечет, манит, пробуждает в нас тягу к падению, которому мы в ужасе сопротивляемся.

Марширующие голые женщины вокруг бассейна, трупы на катафалке, счастливые тем, что Тереза мертва, как и они, – все это было то самое «внизу», которого она страшилась, откуда уже однажды сбежала, но которое таинственным образом влекло ее к себе. Это было ее головокружение: ее звало к себе сладостное (почти веселое) отречение от судьбы и души, ее звала к себе солидарность бездушных. И в минуты слабости ей хотелось покориться этому зову и вернуться к матери. Хотелось отозвать воинство души с палубы тела; сесть среди подруг матери и смеяться тому, что одна из них громко выпустила газы; маршировать с ними голой вокруг бассейна и петь.

Да, в самом деле, Тереза воевала с матерью вплоть до ухода из дому, но нельзя забывать, что при этом мучительно любила ее. Она готова была сделать для матери все, что угодно, стоило той лишь попросить ее голосом любви. И только потому, что этого голоса она ни разу так и не услышала, она нашла в себе силы уйти.

Когда мать поняла, что ее агрессивность утратила над дочерью власть, она принялась писать ей в Прагу письма, полные жалоб. Она сетовала на мужа, на работодателя, на здоровье, на детей и называла Терезу единственным человеком, который есть у нее в жизни. Терезе казалось, что она наконец слышит голос материнской любви, о которой мечтала двадцать лет, и ей захотелось домой. Хотелось домой тем больше, что она чувствовала себя слабой. Измены Томаша вдруг открыли ей ее беспомощность, и из ощущения незащищенности родилось головокружение, беспредельная тяга к падению.

Однажды мать позвонила ей. Сказала, что у нее рак и что жить ей осталось не более нескольких месяцев. При этом известии Терезино отчаяние, вызванное изменами Томаша, обратилось в бунтарство, и она стала упрекать себя, что предала мать ради человека, который не любит ее. Она была готова забыть обо всем, чем когда-то мать досаждала ей. Те-

перь она могла понять ее. Ведь они обе в одинаковом положении: мать любит отчима, как Тереза любит Томаша, и отчим мучит мать изменами так же, как Томаш мучит Терезу. Если мать и была жестока с Терезой, то лишь потому, что слишком страдала.

Томаш, словно почувствовав, что к матери притягивает ее не что иное, как головокружение, воспротивился ее поездке. Позвонил в больницу этого маленького городка. Учет онкологических обследований проводился в Чехии весьма тщательно, и потому он легко смог установить, что у Терезиной матери не было обнаружено никаких признаков рака и что за последний год она вообще ни разу не обращалась к врачу.

Тереза послушалась Томаша и не поехала к матери. Но несколько часов спустя после этого решения она упала на улице и повредила себе колено. Ее походка стала шаткой, что ни день она где-то падала, обо что-то ушибалась или по меньшей мере роняла то, что держала в руках.

У нее была непреодолимая тяга к падению. Она жила в состоянии постоянного головокружения.

Тот, кто падает, говорит: «Подними меня!» И Томаш терпеливо ее поднимал.

«Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз не могли бы от нас оторвать...»

По мере того как время шло, этот образ утрачивал свою первоначальную жестокость и стал ее возбуждать. Не раз она шепотом рисовала его в подробностях Томашу, когда они отдавались любви.

Ей вдруг пришло в голову, что существует способ, как можно избежать приговора, который виделся ей в изменах Томаша: пусть берет ее с собой! пусть берет ее к своим любовницам! Наверное, таким способом можно было бы ее тело снова сделать первым и единственным из всех. Ее тело стало бы его alter ego, его помощником, ассистентом.

«Я буду их раздевать для тебя, потом выкупаю в ванне и приведу к тебе...» – шептала она ему, когда они приникали друг к другу. Она мечтала срастись с ним в одно двуполое существо, и тогда тела других женщин стали бы их общей игрушкой.

Стать alter ego его полигамной жизни. Томаш не хочет ее понять, но она не в силах избавиться от этого наваждения. Стремясь сблизиться с Сабиной, она предложила ей сделать ее фотографии.

Сабина позвала Терезу в мастерскую, и она наконец увидела просторное помещение, посреди которого стояла широкая квадратная тахта, словно подмости.

– Стыдно, что ты у меня еще не была, – говорила Сабина, показывая ей картины, прислоненные к стене. Она откуда-то вытащила даже старый холст, на котором была изображена стройка металлургического завода. Она писала его в ученические годы, когда в Академии требовали самого точного реализма (нереалистическое искусство, считалось тогда, подрывает устои социализма), и Сабина, увлеченная спортивным духом пари, стремилась быть еще строже своих учителей и писала картины так, что мазки кисти были на них совершенно невидимы и они становились похожими на фотографии.

– Эту картину я испортила. Капнула на нее красной краской. Сперва я ужасно переживала, а потом пятно мне понравилось, оно походило на трещину. Словно стройка была не настоящей стройкой, а треснувшей театральной декорацией, на которой стройка всего лишь нарисована. Я начала играть с

этой трещиной, расширять ее, придумывать, что можно было бы увидеть позади нее. Так я написала свой первый цикл картин, который назвала «Кулисы». Естественно, я никому их не показывала. Меня тотчас бы выгнали из Академии. На первом плане всегда был совершенно реалистический мир, а за ним, словно за разорванным полотном декорации, виднелось что-то другое, таинственное и абстрактное. – Она помолчала и добавила: – Впереди была понятная ложь, а позади непонятная правда.

Тереза слушала ее с той пристальной сосредоточенностью, какую редкий учитель когда-либо встречал на лицах своих учеников, и обнаруживала, что все Сабинины картины, прошлые и нынешние, в самом деле говорят об одном и том же, что все они представляют собой слияние двух тем, двух миров, что они будто фотографии, полученные путем двойной экспозиции. Пейзаж, за которым просвечивает настольная лампа. Рука, которая разрывает сзади полотно идиллического натюрморта с яблоками, орехами и зажженной рождественской елкой.

Тереза была восхищена Сабининой, а поскольку художница вела себя на удивление дружелюбно, это восхищение, свободное от страха или недоверия, превращалось в симпатию.

Она едва не забыла о том, что пришла ее фотографировать. Сабина сама напомнила об этом. Тереза оторвала глаза от картин и вновь увидела тахту, стоявшую посреди комнаты, словно подмости.

Возле тахты была тумбочка, и на ней подставка в форме человеческой головы. Точно такая бывает у парикмахеров, на которую они насаживают парики. На Сабининой подставке был не парик, а котелок. Сабина улыбнулась:

– Это котелок моего дедушки...

Такой котелок, черный, твердый, круглый, Тереза видела только в кино. Чаплин носил такой котелок. Она улыбнулась, взяла его в руки и долго рассматривала. Потом сказала:

– Хочешь, я тебя в нем сфотографирую?

Сабина долго смеялась над этой идеей. Тереза отложила котелок, взяла аппарат и начала щелкать.

По прошествии примерно часа она вдруг сказала:

– А хочешь, я сниму тебя голой?

– Голой? – улыбнулась Сабина.

– Вот именно, голой, – решительно подтвердила Тереза свое предложение.

– Для этого нам надо выпить, – сказала Сабина и открыла бутылку вина.

Тереза почувствовала, как по телу разливается слабость, и сделалась молчаливой, тогда как Сабина, напротив, ходила по комнате с рюмкой вина и рассказывала о дедушке, который был мэром небольшого городка; Сабина не знала его; единственное, что от него осталось, – вот этот котелок и еще

фотография: на трибуне стоит группа провинциальных сановников, один из них ее дедушка; что они делают на этой трибуне – совершенно неясно: то ли присутствуют на каком-то торжестве, то ли на открытии памятника своему собрату-сановнику, который тоже нашивал котелок по торжественным случаям.

Сабина долго рассказывала о котелке и о дедушке, а когда допила третью рюмку, сказала:

– Подожди, – и ушла в ванную.

Вернулась в купальном халате. Тереза взяла фотоаппарат и поднесла его к глазу. Сабина распахнула перед ней халат.

Аппарат служил Терезе одновременно и механическим глазом, которым она разглядывала любовницу Томаша, и чем-то вроде вуали, под которой она скрывала от нее лицо.

Сабине потребовалось какое-то время, прежде чем она решилась сбросить халат полностью. Положение, в котором она оказалась, было все-таки более затруднительным, чем представлялось ей поначалу. После нескольких минут пози-рования она подошла к Терезе и сказала:

– Теперь я буду тебя фотографировать. Разденься.

Слово «разденься» Сабина много раз слышала от Томаша, и оно врезалось ей в память. Это был приказ Томаша, который теперь Томашева любовница адресовала Томашевой же-не. Этой магической фразой он соединил обеих женщин. Это был его способ, каким он внезапно переводил невинный раз-говор с женщинами в атмосферу эроса: отнюдь не поглажи-ванием, лестью, просьбами, а приказом, который он прого-варивал вдруг, неожиданно, тихим голосом, однако настой-чиво и властно, причем на определенном расстоянии: в эту минуту он никогда не касался женщины. Он и Терезе часто говорил точно таким же тоном – «разденься!», и, хотя гово-рил это тихо, подчас даже шепотом, это был приказ, и она всегда приходила в возбуждение оттого, что покорно следу-ет ему. Сейчас, когда она услышала то же слово, ее желание

подчиниться стало, пожалуй, еще сильнее, ибо подчиниться кому-то чужому – это особое безумие, безумие в данном случае тем прекрасней, что приказ отдает не мужчина, а женщина.

Сабина взяла у нее аппарат, Тереза разделась. Она стояла перед Сабиной нагая и обезоруженная. В буквальном смысле *обезоруженная*: минутой раньше она не только закрывала аппаратом лицо, но и целилась им, словно оружием, в Сабину. Теперь она была отдана во власть любовницы Томаша. Эта прекрасная покорность опьяняла ее. Она мечтала, чтобы эти мгновения, когда она стояла голая против Сабины, длились вечно.

Думаю, что и Сабину вид стоявшей перед ней нагой жены ее любовника, удивительно покорной и застенчивой, овеял особыми чарами. Два-три раза она шелкнула спуском и, словно испугавшись этого очарования и желая быстро его отогнать, громко рассмеялась.

Тереза тоже засмеялась, и обе женщины оделись.

Все предшествующие преступления русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар – все это сохранилось в памяти без фотодокументов, а следовательно, как нечто недоказуемое, что рано или поздно будет объявлено мистификацией. В противоположность тому, вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото- и киноплёнку и хранится в архивах всего мира.

Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что можно еще совершить: сохранить для далекого будущего образ насилия. Тереза всю неделю была на улицах и фотографировала русских солдат и офицеров во всех компрометирующих их ситуациях. Русские не знали, что делать. Они получили точные указания, как вести себя в случае, если в них будут стрелять или бросать камни, но никто не дал им инструкций, что делать, если кто-то нацелит на них объектив аппарата.

Она отсняла уйму пленки. Пожалуй, половину раздала в непроявленных негативах иностранным журналистам (границы все еще были открыты, приезжавшие из-за кордона репортеры были благодарны за любой материал). Многие фо-

тографии появились в самых разных зарубежных газетах: на них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах, с бешеной скоростью носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных, изголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Как я уже сказал, русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной (и ни для кого теперь не объяснимой) эйфории.

В Швейцарию она увезла с собой фотографий пятьдесят, которые сама же и проявила со всем тщанием и умением, на какие была способна. Отправилась предложить их в большой иллюстрированный журнал. Редактор принял ее любезно (все чехи еще были окружены ореолом своего несчастья, трогавшего сердца добрых швейцарцев), усадил ее в кресло, просмотрел снимки, похвалил и объяснил ей, что сейчас, когда события уже отдалены определенным временем, нет никакой надежды («несмотря на то, что снимки превосходны!») на их публикацию.

– Но в Праге еще ничего не кончилось! – возразила она и попыталась на плохом немецком объяснить ему, что именно сейчас, когда страна оккупирована, на фабриках, вопреки всему, организуются органы самоуправления, студенты бастуют, требуя вывода русских войск, и вся страна продолжает жить своей жизнью. Именно это и потрясает! А здесь это уже никого не волнует!

Редактор обрадовался, когда в комнату вошла энергичная женщина и прервала их разговор. Она протянула ему папку и сказала:

– Репортаж о нудистском пляже.

Будучи человеком тонким, редактор испугался, как бы чешка, фотографировавшая танки, не сочла вид голых лю-

дей на пляже слишком фривольным. Поэтому он отодвинул папку достаточно далеко, на край стола, и не мешкая сказал вошедшей женщине:

– Хочу представить тебе твою пражскую коллегу. Она принесла превосходные снимки.

Женщина пожала Терезе руку и взяла ее снимки.

– А вы покамест посмотрите мои, – сказала она.

Тереза протянула руку к папке и вытащила из нее фотографии.

– Это прямая противоположность тому, что фотографировали вы, – сказал редактор Терезе едва ли не извиняющимся тоном.

Тереза возразила:

– Ну что вы! Это одно и то же.

Никто этой фразы не понял, да и мне совсем нелегко объяснить, что, в сущности, хотела сказать Тереза, приравняв нудистский пляж к русскому вторжению. Просматривая фотографии, она особенно долго задержалась на одной, на которой была изображена семья из четырех человек, стоявших в кружок: голая мать, склонившаяся к детям так, что большие соски свисали у нее вниз, точно у козы или коровы, а с другой стороны – в такой же склоненной позе мужчина, чья мошонка также напоминала миниатюрное вымя.

– Вам не нравится? – спросил редактор.

– Отлично сфотографировано.

– Тема вас, вероятно, шокирует, – сказала фотограф. – По

вам сразу видно, что на нудистский пляж вы не пошли бы.

– Нет, конечно, – сказала Тереза.

Редактор улыбнулся:

– Что ж, нетрудно догадаться, откуда вы приехали. Коммунистические страны ужасно пуританские.

– Голые тела, что тут особенного! – сказала фотограф с материнской мягкостью. – Нормально. А все, что нормально, красиво!

Тереза вспомнила мать, ходившую голой по квартире. И явственно услышала смех, раздававшийся за ее спиной, когда она бежала задернуть шторы, чтобы голую мать не увидели из дома напротив.

Дама-фотограф позвала Терезу на чашку кофе в буфет.

– Сделанные вами снимки весьма любопытны. Замечу, что вы обладаете особым чутьем женского тела. Вы понимаете, что я имею в виду? Тех девушек в вызывающих позах!

– Тех, что целуются перед русскими танками?

– Совершенно верно. Вы могли бы стать первоклассным фотографом в области моды. Для этого вам, разумеется, надо связаться с манекенщицей. Скорее всего, с такой, что тоже подыскивает работу. Вы могли бы сделать пробные фотографии для какой-нибудь фирмы. Конечно, потребуется время, чтобы пробиться. А пока я могу оказать вам одну услугу. Познакомить вас с редактором, который ведет рубрику «Наш сад». Возможно, им нужны фото кактусов, роз и всего такого прочего.

– Большое спасибо, – искренне сказала Тереза, чувствуя, что женщина, сидящая напротив, полна желания помочь ей.

Но тут же подумала: с какой стати ей фотографировать кактусы? В самом деле, она вовсе не хочет повторить то, с чем уже однажды столкнулась в Праге: с борьбой за место, за карьеру, за каждую напечатанную фотографию. Она никогда не была честолюбива из тщеславия. Она просто хотела спастись от мира матери. Да, для нее это было ясно как день: она делала фотографии с великим старанием, но все

свое старание она могла бы приложить к любому другому занятию, поскольку фотография была лишь средством прорваться «дальше и выше» и жить рядом с Томашем.

Она сказала:

– Видите ли, мой муж врач и обеспечивает меня. Мне не обязательно заниматься фотографией.

Дама-фотограф сказала:

– Не понимаю, как вы можете бросить фотографию, делая такие превосходные снимки?

Конечно, фотография в дни вторжения – это было совсем другое. Эти снимки она делала не ради Томаша. Делать их побуждала ее одержимость. Причем одержимость не фотографией, а ненавистью. Но такая ситуация уже никогда не повторится. Впрочем, снимки, что она делала из одержимости, уже никому не нужны, ибо они не актуальны. Лишь кактусы – неизменно актуальная тема. Но кактусы не интересуют ее.

Она сказала:

– Вы очень добры ко мне. Но лучше я останусь дома. Мне не обязательно работать.

Фотограф сказала:

– И вас бы устроило сидеть дома?

Тереза сказала:

– Пожалуй, больше, чем фотографировать кактусы.

Фотограф сказала:

– Даже если вы фотографируете кактусы – это ваша жизнь.

Если же вы живете только ради мужа – это не ваша жизнь.

Тереза сказала с неожиданным раздражением:

– Моя жизнь – это мой муж, а не кактусы.

Фотограф – тоже с раздражением:

– Уж не хотите ли вы уверить меня, что вы счастливы?

Тереза сказала (с таким же раздражением):

– Конечно я счастлива!

Фотограф сказала:

– Это может утверждать разве что очень... – Она не договорила, о чем подумала.

Тереза закончила ее мысль:

– Вы хотите сказать: очень ограниченная женщина.

Фотограф овладела собой и сказала:

– Нет, не ограниченная. Старомодная.

Тереза в задумчивости сказала:

– Да, вы правы. То же самое говорит обо мне мой муж.

Но Томаш целые дни проводил в больнице, а она оставалась дома одна. Хорошо еще, был Каренин, и она могла с ним подолгу гулять. Возвращаясь домой, она садилась за учебники немецкого и французского. Но ей бывало грустно, и она с трудом сосредоточивалась. Часто вспоминалась речь Дубчека, с которой он выступал по радио после своего возвращения из Москвы. Она едва помнила, о чем он говорил, но до сих пор в ушах стоял его прерывистый голос. И она думала: чужие солдаты арестовали его, главу самостоятельного государства, в его собственной стране, уволокли его и держали четыре дня где-то в Карпатах, намекая ему, что его постигнет та же участь, что и его венгерского предшественника Имре Надя двенадцать лет назад. Затем перевезли в Москву, велели выкупаться, побриться, одеться, завязать галстук и сообщили, что казнить его уже не собираются и он может продолжать считать себя главой государства. Его посадили за стол против Брежнева и заставили вести с ним переговоры.

Вернулся он униженным и обратился к униженному народу. Он был так унижен, что не мог говорить. Тереза никогда не забудет те ужасные паузы между фразами. Был ли он изнурен? Болен? Его накачали наркотиками? Или это было просто отчаяние? Даже если после Дубчека ничего не останется, эти долгие паузы, когда он не мог дышать, когда перед

всем народом, приникшим к радиоприемникам, ловил ртом воздух, эти паузы останутся после него навсегда. В этих паузах был весь ужас, обрушившийся на их страну.

Шел седьмой день оккупации: она слушала его выступление в редакции одной газеты, превратившейся тогда в орган сопротивления. Все, кто слушал там Дубчека, в ту минуту его ненавидели. Не могли простить ему компромисс, который он допустил; они чувствовали себя униженными его унижением, и его слабость их оскорбляла.

Вспоминая об этой минуте сейчас в Цюрихе, она уже не испытывала к Дубчеку презрения. Слово «слабость» уже не звучит для нее приговором. Когда человек сталкивается с превосходящей силой, он всегда слаб, даже если он такого атлетического сложения, как Дубчек. Та слабость, что казалась тогда им невыносимой, отвратительной и что выгнала их из страны, вдруг стала притягивать ее. Она стала осознавать, что принадлежит к слабым, к лагерю слабых, к стране слабых и что она должна быть верна им именно потому, что они слабы и ловят ртом воздух посреди фразы.

Ее увлекала их слабость, как головокружение. Увлекала ее, поскольку она сама чувствовала себя слабой. Она снова начала ревновать, и у нее снова стали дрожать руки, Томаш заметил это и сделал то, что было ей так знакомо: взял ее руки в свои и сжал, чтобы успокоить. Она вырвала их.

– Что с тобой? – спросил он.

– Ничего.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?

– Я хочу, чтобы ты был старый. На десять лет старше. На двадцать лет старше!

Этим она как бы говорила ему: хочу, чтобы ты был слабый. Чтобы ты был такой же слабый, как я.

Каренин не одобрял переезда в Швейцарию. Каренин ненавидел перемены. Собачье время не движется по прямой, все дальше и дальше вперед, от одного события к другому. Оно совершается по кругу, подобно времени часовых стрелок, что также не бегут безрассудно куда-то вперед, а вращаются по циферблату, изо дня в день по той же дорожке. Стоило им в Праге купить новый стул или передвинуть вазон, как Каренин тотчас отмечал это с неудовольствием. Это нарушало его чувство времени. Это было как если бы они дурачили стрелки, без конца переставляя цифры на циферблате.

И все-таки вскоре ему удалось и в цюрихской квартире восстановить старые порядки и ритуалы. Так же как и в Праге, он поутру вспрыгивал к ним на кровать поздороваться, а затем сопровождал Терезу в магазин за покупками и требовал, как и в Праге, регулярных прогулок.

Он был курантами их жизни. В минуты безнадежности она говорила себе, что должна выдержать хотя бы ради него, поскольку он еще слабей, чем она, пожалуй, еще слабее, чем Дубчек и ее покинутая родина.

Как-то раз, когда она вернулась с прогулки, зазвонил телефон. Тереза подняла трубку и спросила, кто звонит.

Голос был женский и на немецком спрашивал Томаша.

Звучал он неприветливо, и Терезе показалось, что от него веет презрением.

Когда Тереза сказала, что Томаша нет дома и неизвестно, в котором часу он вернется, женщина на другом конце провода засмеялась и, не простившись, повесила трубку.

Тереза понимала, что ничего не случилось. Это могла быть сестра из больницы, пациентка, секретарша, бог знает кто. И все-таки она взволновалась и не могла ни на чем сосредоточиться. Она почувствовала вдруг, что потеряла даже те остатки сил, какие были у нее когда-то в Чехии: этот, казалось бы, столь незначительный эпизод она попросту уже не в состоянии вынести.

Быть на чужбине – значит идти по натянутому в пустом пространстве канату без той охранительной сетки, которую предоставляет человеку родная страна, где у него семья, друзья, сослуживцы, где он без труда может договориться на языке, знакомом с детства. В Праге Тереза зависела от Томаша только сердцем. Здесь она зависит от него всем своим существом. Оставь он ее, что стало бы с ней? Неужто ей суждено прожить жизнь в страхе потерять его?

Она говорит себе: их встреча с самого начала основывалась на ошибке. «Анна Каренина», которую она сжимала под мышкой, была фальшивым документом, которым она обманула Томаша. Они любят друг друга, и все-таки каждый из них превратил жизнь другого в ад. А то, что они любят друг друга, лишь доказывает, что изъян не в них самих, не в их по-

ведении или неустойчивом чувстве, но в том, что они не подходят друг другу; он сильный, а она слабая. Она как Дубчек, который прерывает фразы полуминутными паузами, она как ее родина, которая заикается, ловит ртом воздух и не может говорить.

Но именно слабый должен суметь стать сильным и уйти, когда сильный слишком слаб для того, чтобы суметь причинить боль слабому.

Так Тереза говорила себе, прижимаясь к лохматой Карениновой голове:

– Не сердись, Каренин. Придется тебе еще раз сменить квартиру.

Тереза сидела, съежившись в уголке купе, тяжелый чемодан был над головой, Каренин жался у ног. Она думала о поваре из ресторана, в котором работала, когда жила с матерью. Он пользовался любым случаем, чтобы шлепнуть ее по задку, и всякий раз на людях предлагал ей с ним переспать. Странно было, что сейчас она думала именно о нем. Он был для нее поистине олицетворением того, что внушало ей омерзение. Но теперь она думала только о том, как найдет его и скажет: «Ты говорил, что хочешь со мной переспать. Вот я».

Она мечтала сделать нечто такое, что перечеркнуло бы дорогу назад. Она мечтала грубо уничтожить прошлое своих последних семи лет. Это было головокружение. Одурманивающая, непреодолимая тяга к падению.

Мы могли бы назвать головокружение опьянением слабостью. Человек осознает свою слабость и старается не противиться, а, напротив, поддаться ей. Опьяненный своей слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади, передо всеми, хочет быть внизу и даже ниже, чем внизу.

Она убеждала себя, что не останется в Праге и не будет больше заниматься фотографией. Вернется в маленький город, из которого когда-то позвал ее голос Томаша.

Но, приехав в Прагу, она вынуждена была задержаться

там ненадолго, чтобы уладить кой-какие практические дела. Решила помедлить с отъездом.

На пятый день в квартире вдруг появился Томаш. Каренин долго прыгал, стараясь лизнуть его в лицо, и тем самым избавил их на какое-то время от необходимости объясняться. Им казалось, словно они стоят посреди снежной пустыни и дрожат от холода.

Потом они подошли друг к другу, будто любовники, которые до сих пор еще не целовались.

Он спросил:

– Здесь все было в порядке?

– Да, – ответила она.

– Ты была в журнале?

– Я звонила туда.

– Ну и?..

– Ничего. Я ждала.

– Чего?

Она не ответила. Она не могла ему сказать, что ждала его.

Мы возвращаемся к минутам, о которых нам уже известно. Томаш был в отчаянии, и у него болел желудок. Уснул он лишь поздно ночью.

Однако вскоре проснулась Тереза. (Русские самолеты кружили над Прагой, и в их гуле нельзя было спать.) Ее первая мысль была: он вернулся ради нее. Ради нее он изменил свою судьбу. Теперь уже не он будет ответствен за нее, теперь она ответственна за него.

Эта ответственность казалась ей непосильной.

Но потом она вдруг вспомнила, что вчера вслед за тем, как он объявился в дверях квартиры, на пражском храме било шесть. Когда они впервые встретились, ее работа тоже кончилась в шесть. Она вышла из гостиницы и увидела его сидевшим напротив, на желтой скамейке, а на башне били колокола.

Нет, это было не суеверием, а чувством красоты, освободившим ее от тоски и наполнившим желанием жить. Птицы случайностей снова слетались ей на плечи. В глазах стояли слезы, и она была невыразимо счастлива, что слышит его дыхание рядом.

Часть третья

Слова непонятые

1

Женева – город фонтанов, водоемов и парков, где когда-то на эстрадах играли оркестры. За деревьями прячется и университетское здание. Закончив утреннюю лекцию, Франц вышел на улицу. Из шлангов струилась на газон вода, и он был в прекрасном настроении: шел к своей возлюбленной. Она жила неподалеку от университета.

Он навещал ее часто, но всегда как внимательный друг и никогда как любовник. Если бы он занимался с ней любовью в ее мастерской, то в течение дня ходил бы от одной женщины к другой, от жены к любовнице и обратно, а поскольку в Женеве супруги спят на французский манер, то есть в общей кровати, это значило бы, что в течение немногих часов он перелезал бы из одной кровати в другую и тем самым, ему казалось, унизил бы и любовницу, и жену, а в конечном счете – себя самого.

Его чувство к женщине, в которую он влюбился несколько месяцев назад, было для него такой редкостью, что он стремился создать в своей жизни независимое пространство,

неприступную территорию чистоты. Его часто приглашали читать лекции в различных зарубежных университетах, и теперь он с жадностью принимал все предложения. Но поскольку их было все же недостаточно, он придумывал еще и несуществующие конгрессы и симпозиумы, дабы оправдать перед женой свои отлучки. Его любовница, свободно распоряжавшаяся своим временем, сопровождала его. Он дал ей возможность за короткий срок повидать множество европейских и американских городов.

– Через десять дней, если ты не возражаешь, мы можем поехать в Палермо, – сказал он.

– Предпочитаю Женеву, – ответила она. Она стояла у мольберта перед начатой картиной и разглядывала ее.

– Ты можешь жить и не узнать Палермо? – попытался он пошутить.

– Я знаю Палермо, – сказала она.

– Как так? – спросил он не без ревности.

– Моя знакомая прислала мне оттуда открытку. Я прилепила ее скотчем в уборной. Разве ты не заметил?

А потом рассказала ему историю:

– В начале века жил один поэт. Был он очень стар, и секретарь выводил его на прогулку. «Маэстро, – воскликнул тот однажды, – посмотрите вверх! Сегодня над городом пролетает первый аэроплан!» – «Я могу себе это представить», – сказал маэстро своему секретарю и не поднял глаз от земли. Видишь ли, я тоже могу представить Палермо. Там такие же

отели и такие же машины, как во всех городах. В моей мастерской, по крайней мере, все время другие картины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.